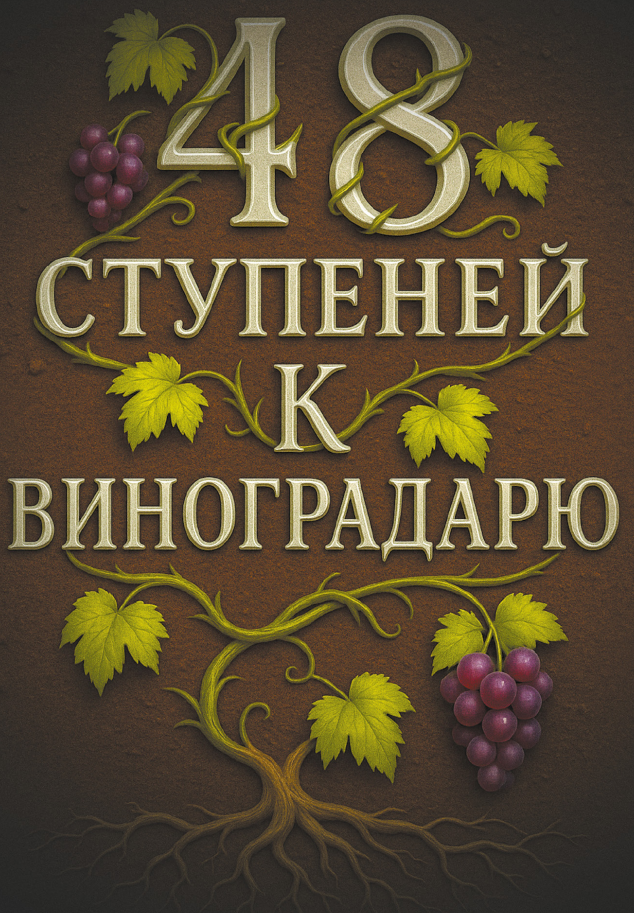
ЛЕЛА САДЖАЯ

48 СТУПЕНЕЙ К ВИНОГРАДАРЮ



СЕРДЦЕ СОКРУШЕННО И СМИРЕННО
БОГ НЕ УНИЧИЖИТ

Лела Саджая

48 ступеней к Виноградарю

Перед вами — путь покаяния, рассказанный глазами бойца, ставшего монахом. Лео Кипиани — чемпион UFC, который побеждал на ринге, но потерпел поражение там, где раны не залечивают бинтами. Он возвращается на землю, откуда когда-то уехал мальчиком, не зная, что у родины есть свой голос. И этот голос зовет его — через древние храмы, первозданную природу и женскую улыбку, в которой отразилась вся Грузия. Ее зовут Ламара — девушка, чье сердце наполнено истовой верой, состраданием к ближним и силой самопожертвования. Это история любви, которую не суждено было прожить, — но которой оказалось достаточно, чтобы спасти душу.

© Саджая Л., 2025

Содержание

Предисловие
Часть 1. Корни
Глава 1. Гора
Глава 2. Келья
Глава 3. Ступени
Глава 4. Самеба
Глава 5. Мать Картли
Глава 6. Крепость Нарикала
Глава 7. Джвари
Глава 8. Светицховели
Глава 9. Самтавро
Глава 10. Сиони
Глава 11. Шио-Мгвиме
Глава 12. Дзвели-Канда
Глава 13. Утро
Глава 14. Ананури
Глава 15. Гергети
Глава 16. Риони
Глава 17. Гелати
Глава 18. Вардзия
Глава 19. Алаверди
Глава 20. Бодбе
Глава 21. Виноградники
Глава 22. Давид-Гареджи
Глава 23. Аджарули
Глава 24. Летопись Грузии
Часть 2. Ветви
Глава 25. Фильм
Глава 26. Свидание
Глава 27. Шоти
Глава 28. Мандарины
Глава 29. Люди
Глава 30. Бэбо
Глава 31. Детский дом
Глава 32. Бой
Глава 33. Мост Мира
Часть 3. Плоды
Глава 34. Зов родины
Глава 35. Пустошь
Глава 36. Жажда
Глава 37. Исповедь
Глава 38. Служение
Глава 39. Постриг
Глава 40. Смирение
Дневник Ламары
Благодарности

Предисловие

«48 ступеней к Виноградарю» — это роман о возвращении.

Он состоит из трех частей и сорока восьми глав.

Первая часть. Корни — храмы, святыни, память — все, что питает душу и не дает забыть, кто ты.

Вторая часть. Ветви — люди, встреченные на пути, через которых приходят любовь, вера и надежда.

Третья часть. Плоды — покаяние, исповедь и исцеление — то, что рождается в сердце после долгого пути.

Каждая из глав — это ступень, которая приближает человека к родной земле, к себе и к Богу.

P. S. Если вы держите эту книгу в руках, вероятно, вы стоите на одной из ступеней. И, быть может, вам откликнется тишина между строк, та, в которой живет настоящее откровение — восемь глав, так и не названных, но самых важных…

Часть 1. Корни

Глава 1. Гора

В те дни, когда мир еще не знал его имени, он был всего лишь мальчиком с сердцем, стучавшим в ритме далеких гор. Его звали Лео, но спустя годы этот мир станет звать его Горой. Он вырос вдали от родины, на улицах чужого города, где солнце казалось холодным, а лица прохожих — одинаковыми.

Лео дрался, потому что в бою находил то, что не давало забыть, кто он есть. Эта борьба началась на ринге и продолжилась там, где тишина обнажала раны, что прежде скрывались за победами.

Чемпионские титулы сменяли друг друга, камеры ловили каждый его шаг, но во взгляде все чаще проступала едва уловимая тень усталости. Будто за ударами расползалась незаживающая трещина в старой ране, становившаяся все глубже.

А потом он исчез. Внезапно, без объяснений, словно его следы оборвались на краю ринга, оставив позади лишь скандальные газеты и пустоту на афишах. Тот, кого называли Горой, перестал быть героем арены — он стал тенью среди камней и голосом в безмолвии.

Но вот теперь, спустя двадцать лет молчания, бывший чемпион UFC Лео Кипиани впервые рассказал о том, что побудило его стать отшельником на пике своей славы.

Вопреки устоявшемуся факту, что Кипиани не дает интервью и не выходит на встречу к журналистам, я, начинающий репортер, вдохновленный воспоминаниями о его легендарных боях, дерзнул отправиться в монастырь на горе, куда добровольно заточил себя герой моего детства. Я верил, что Гора откроет мне не только тяжелые двери своей кельи, но и глубины души, в которых скрыта загадочная история его духовного пробуждения. Ведь в моем рюкзаке было то, что могло заставить его сердце говорить, — частичка прошлого, связующая нить между шумным миром октагона и тишиной его монашеской обители…

Я выехал в ночь, чтобы успеть к рассвету, — времени, когда монахи собираются на утреннюю службу. Однако дорога в монастырь превратилась в настоящее испытание. Вначале путь казался безмятежным: горы дремали в тишине, которую нарушал лишь гул мотора и редкие трели ночных птиц. Но по мере того, как я поднимался все выше, горизонт начал менять свой облик. Ночь была тягучей и бесконечной. Лунный свет просачивался сквозь мглу, как капли серебра на черном бархате. Все вокруг казалось затянутым тонким полупрозрачным дымом. Где-то вдали вспыхнула молния, осветив на миг вершины и острые скалы. Затем прогремел протяжный раскат грома, словно горы предупреждали о надвигающейся стихии. Дождь не заставил долго ждать. Первая капля упала на лобовое стекло, разбившись на крохотные брызги, за ней медленно потянулись еще несколько робких, будто проверяя прочность стекла, и лишь потом тысячи других устремились следом, превращая легкий стук в непрерывный шум. Фары пытались пробиться сквозь плотную завесу дождя, но их свет рассеивался в каплях, сливающихся в струящиеся потоки. Дворники сражались изо всех сил, но они казались бессильными перед натиском дождя, который заливал дорогу, обращая ее в поток грязной воды, что стекала вниз и увлекала за собой мелкие камни. Педаль газа давала лишь короткий толчок вперед, прежде чем машина снова замирала. И в этот момент я понял: у машины нет шанса на подъем. Но у меня он

был…

Остановившись, я заглушил двигатель и, обхватив руль, на мгновение задумался: путь, что начинался с этой точки, на самом деле вел гораздо дальше — туда, где цель требовала не только движения, но и воли. Дождь стучал по крыше, как в барабан, требуя моего решения. Я вздохнул и потянулся к рюкзаку, лежащему на пассажирском сиденье, но пальцы задержались на плечевом ремешке, словно спрашивая: *уверен ли ты*? В этот момент прогремел гром, и вместе с ним в голове пронеслась мысль: *нужно успеть к рассвету*! Я схватил рюкзак, отстегнул ремень безопасности и накинул капюшон.

Выйдя из машины, я тут же ощутил на лице холодные иглы дождя, а вместе с ними и горьковатый аромат хвои. Я стоял на пороге неизвестного, глядя на тропу, которая извивалась между зарослями и терялась во тьме, уводя все выше. В полумраке виднелись причудливые очертания деревьев, они нависали мокрыми ветвями над тропой, наблюдая за редкими путниками, осмелившимися на нее ступить. Ветер гулял среди молчаливых силуэтов, принося с собой странное чувство: то ли тревогу, то ли предвкушение.

Наконец решившись, я шагнул в ночь, которая, казалось, терпеливо ждала меня, готовая стать моим спутником. Вокруг все будто затаилось, лишь мерный стук дождя сопровождал мои шаги, иногда сменяясь внезапными шорохами листвы, от которых сердце начинало биться еще быстрее. Редкие проблески лунного света, пробивающиеся сквозь плотные кроны деревьев, мелькали впереди, указывая дорогу. Бывало, ручьи, пересекающие тропу, внезапно окутывали холодом, когда приходилось пробираться через них, чувствуя, как намокают ноги. Местами тропа извивалась у самого обрыва, обещая падение тем, кто рискнет отвлечься на краткий миг, чтобы взглянуть в пропасть. Но именно эта дорога, с ее испытаниями и опасностями, стирала грань между земным и священным, подготавливая душу идущего к встрече с уединенным монастырем.

На мгновение я остановился, переводя сбившееся дыхание, и поднял взгляд. На вершине, скрытой в дождливой дымке, начали проступать очертания монастыря. Он был почти нереален, как видение, застывшее между небом и землей, — недосягаемый и таинственный. Внутри меня все кричало об усталости, но руки невольно сжали туго затянутые ремни рюкзака, напоминая о той цели, ради которой я отправился на эту гору. Дождь хлестал все сильнее, превращая каждый шаг в борьбу, пока я упрямо двигался вперед. В голове звучали слова из далекого прошлого, которые герой моего детства часто повторял: *осилит дорогу идущий*! Они превращали путь в испытание, которое мне надлежало пройти.

И вот, преодолев последний изгиб тропы, я оказался у подворья монастыря. Его серые каменные стены поднимались среди мрачных скал, сливаясь с их суровыми очертаниями. Ветер срывался с вершин и бил в них, но монастырь стоял незыблемо, врастая в скалу как нечто, неподвластное времени. Первые лучи солнца, прорываясь сквозь утренний туман, касались его стен мягкими, осторожными мазками света, раскрывая величие древней обители. Не в силах сдвинуться с места, я замер, вдыхая холодный воздух, который был наполнен ароматом хвои и мокрой земли. Все вместе: усталость, облегчение и почти священный трепет — накрыло меня волной спокойствия. Мне хотелось задержаться в этом мгновении — впитать в себя каждую ноту тишины, нависающей здесь как незримый купол. Чувство достижения, смешанное с ощущением, что ты стоишь на пороге откровения, заполняло пространство невидимой дрожью, пронизывающей до самых кончиков пальцев. Как если бы меня ожидала встреча со старым другом, о котором я слышал множество историй, но с кем не был знаком лично. Я ощущал, как секунды растягиваются, давая мне возможность осознать, что этот момент — не конец пути, а лишь его начало.

Глубокий, гулкий звон колокола пронзил утреннюю безмятежность, напоминая о том, что пора идти дальше, — все, что я искал, уже рядом.

Я двинулся вперед, шагая сквозь туман, который, едва касаясь земли, стелился над холодными каменными плитами. Запах прохладной свежести сплетался с легким ароматом ладана, исходящим из полуоткрытых дверей храма, откуда доносились молитвенные песнопения. Я устремился туда, но, переступив порог, уловил, как мое сердце будто бы забилось в двух ритмах: ровно и спокойно и одновременно качало кровь вдвое чаще, предвкушая встречу с Горой.

Литургия длилась почти четыре часа. Казалось, что горные испытания нашли свое продолжение там, в монастыре, где требовалась не только стойкость тела, но и сосредоточенность духа. Я стоял из последних сил. Протяжные напевы монахов разносились эхом по каменным сводам, освобождая меня от внутренней усталости, с которой давно срослась моя душа. А мерный звон кадила и плавное движение облаков ладана добавляли ощущения торжественности. В этом священном пространстве я чувствовал себя тенью в кругу света, и все же в сердце теплилась надежда, что я нахожусь именно там, где должен быть. Каждый взгляд на притвор, каждое движение монаха, перелистывавшего старый требник, будоражило во мне ожидание. *Я пришел сюда, чтобы встретить Гору*, и эта мысль — единственное, что помогало держаться на ногах.

После завершения литургии тишина медленно заполнила храм, подобно воде, затопляющей каменную чашу. Свет снаружи спокойно заливал проход, пока паломники и монахи по одному скрывались за массивными дверями. Я остался стоять у стены, пристально вглядываясь в лица проходящих мимо монахов, с затаенной надеждой встретить *своего*, но среди них не было того, кого я искал, а точнее — кого хотел найти. Один из них подошел ко мне, приветливо поздоровался и предложил присоединиться к братской трапезе. Я, изнуренный и изголодавшийся, охотно согласился. Мы вышли из храма. Туман уже рассеялся, каменная дорожка, блестящая после дождя, уходила в глубину двора, где в тени монастырских стен прятались клумбы с лекарственными травами вперемешку с дикорастущими цветами. Ветер слегка шевелил их побеги, разнося по воздуху едва уловимый запах мяты и розмарина. Вершины скал, недавно скрытые под серой вуалью, теперь вспыхивали утренним светом, напоминая острие меча на рассвете.

Я хотел спросить о Горе, но, не успев задать вопрос, услышал ответ:

— Думаю, он направился в свою келью. Лео Кипиани, вы ведь его ищете?

— Да, но откуда вы…

— Знаю о том, что вы, чадо, жаждете раскрыть тайну души монаха? — произнося это, он слегка ухмыльнулся. — Это невозможно, ибо душа принадлежит Богу, и лишь перед Ним одним мы обнажаем ее.

Слова монаха застали меня врасплох.

— А сердце?

Монах остановился на мгновение и пристально взглянул на меня.

— Сердце — это поле битвы. Увы, миряне доверяют ему больше, чем следовало бы. Там, где вы видите истину, часто скрываются страсти, с которыми нам должно вести непрерывную борьбу.

— Говорите, не доверять ему?

— Говорю бороться, — ответил он и продолжил путь.

Когда мы достигли трапезной, я ощутил такое изнеможение, что, казалось, даже не смог бы поднять ложку.

— Могу ли я прежде немного вздремнуть под крышей вашей обители? — спросил я едва слышно, чувствуя, как усталость берет верх.

— Конечно, я позабочусь, чтобы вас разместили в гостевом корпусе, где найдется все необходимое: душ, чистое полотенце, кровать. Отдохните как следует, дорога сюда не из легких.

После этих слов я ощутил, как напряжение отступает. Поблагодарив его, я спросил:

— Как я могу к вам обращаться?

— Отец Лонгин, — ответил монах.

— Рад знакомству, отец. Меня зовут Саба, — представился я, склонив голову.

Отец Лонгин осенил меня крестным знамением, затем обернулся к одному из иноков, стоявшему неподалеку, и жестом призвал его.

— Проводи нашего гостя в комнату для паломников.

Тот почтительно кивнул и легким движением руки указал мне следовать за ним. Я еще раз поблагодарил отца Лонгина и последовал за иноком.

Тишина монастыря обволакивала меня со всех сторон, наполняя чувством умиротворения, которое я давно не испытывал. В этом спокойствии было что-то неожиданно близкое, словно душа находила там временный приют.

Я проспал до вечера и, судя по ощущениям, спал бы еще столько же, если бы не звон колоколов, созывавший всех обитателей монастыря на молитву.

На столике у кровати меня ждала постная трапеза: несколько ломтей грубого черного хлеба, пара сочных зеленых оливок и финики, сморщенная кожура которых скрывала медовую сладость. Я был настолько голоден, что чувствовал себя способным съесть целого кабана, но из-за строгости поста выбирать не приходилось. Поэтому, съев все, что было на тарелке, и запив водой, я быстро направился на службу, дабы не упустить Гору снова.

Вглядываясь в лица монахов, я не узнавал нужного мне. Время от времени мой взгляд цеплялся за кого-то похожего, но при ближайшем рассмотрении надежда рассеивалась — каждый раз это оказывался лишь еще один монах с длинной бородой, облаченный в черную рясу. Тут я заметил отца Лонгина, который совершал поклоны рядом с алтарем. Я приблизился к нему, чтобы спросить о Горе, но он лишь мельком взглянул на меня — в этом взгляде ясно читался безмолвный посыл: *не сейчас.*

После службы отец Лонгин подошел ко мне, призывая следовать за ним. Что я и сделал, надеясь на то, что он приведет меня к Горе. Но вместо этого мы вышли во двор, где у задней стены монастыря возвышалась гора поленьев, приготовленных для колки. Отец Лонгин молча протянул мне топор. Я так же молча взял его и с размаху опустил лезвие на полено, пытаясь расколоть его пополам. Но сколько бы я ни старался, ничего не выходило — древесина оставалась целой, а лезвие лишь глубже застревало в ее толще.

В конце концов я махнул на послушание рукой, опустил топор и, тяжело дыша, присел рядом с колодой.

— Где он? — выдавил я, пытаясь восстановить дыхание.

— Он?

— Лео Кипиани по прозвищу Гора, — сказал я напряженно.

Отец Лонгин взялся за застрявшую в полене рукоять и резко ударил им об колоду. С первого удара полено раскололось пополам.

— Зачем вам Кипиани? — ровным голосом спросил меня монах.

— Вы не поймете, — ответил я, немного удивленный увиденным.

— А вы попробуйте объяснить глупому, — смиренно произнес он.

— Простите, я не то имел в виду. Просто… это личное.

— Хорошо, что не арифметика. Я ее с детства не понимаю, — с тенью улыбки произнес он, передавая мне топор.

Следующие два часа мы кололи дрова. Отец Лонгин непрерывно нашептывал молитвы, в то время как я угрюмо безмолвствовал, понимая, что его молчание — это не проявление равнодушия, а нечто большее. Оно словно говорило: *ты еще не готов, не время.*

Вечером мы с монахами и послушниками снова собрались на богослужение. И так тянулись дни, которые превращались в недели, а затем и в месяцы. Настоятель разрешил

мне остаться в монастыре, видя мою растерянность и желание найти ответы на важные вопросы. Он сказал, что для души необходимо время молчания и труда, и тогда ответы приходят сами.

Я исполнял послушания: подметал каменные дорожки, чинил лавки, копался в саду, сортировал книги в библиотеке. Этот размеренный ритм очищал мои мысли от суеты, которой полнилась прежняя жизнь. Молитва учила смирению, труд придавал телу силу, а молчание оживляло душу. Каждый день был испытанием, шагом вперед, который требовал усилий, — как физических, так и душевных. И, скорее всего, я бы сдался уже к концу первого месяца пребывания в монастыре, если бы не отец Лонгин. Его молитвами мое отчаяние переросло в спокойствие. Слова казались излишними, когда он медленно перебирал четки, сидя у стены монастырского двора; когда ел лишь сухой хлеб или склонял голову при виде меня, сострадая терзающейся душе. Благодаря ему я осознал, что в безмолвии скрыта великая сила, очищающая душу от скверны.

Прошло почти полгода. Молитва сменялась трапезой, затем трудом и снова молитвой. И так, день за днем, живя в послушании и наблюдая за маленькими подвигами отца Лонгина, я постепенно утратил остроту своего нетерпения, и мои вопросы затерялись между строк запылившегося блокнота. Я не заметил, как пришло смирение. Оно не было внезапным, но медленным, словно роса, собиравшаяся по капле на листьях. Я не считал это поражением — скорее, принятием того, что некоторые ответы могут так и не прийти. И тогда я решил: настало время покинуть гору.

Глава 2. Келья

Я собрался на рассвете. На самом деле я и не спал. Ночь прошла словно в тумане — как в то утро, когда я впервые поднялся на эту гору. Только теперь во мне жило осознание: что не все в жизни зависит лишь от моих усилий и что Божий замысел не торопится, но и не опаздывает. А потому все, что должно, случится, когда настанет час. Это то, чему я успел научиться у монахов, и то, чему мне еще предстояло учиться. И с этим пониманием я доверился Его воле.

Перед уходом я заглянул в келью отца Лонгина, чтобы проститься с ним. Он сидел на деревянном стуле, слегка склонив голову, как будто только недавно уступил сну. Его дыхание было ровным и спокойным, лицо излучало умиротворение.

Меня переполняло чувство благодарности, но я не осмелился нарушить его столь редкий покой. Вместо этого я решил дождаться его пробуждения, тихо прислонившись к деревянному косяку рядом с полкой книг. С потертыми корешками и закладками из старых бумажек они стояли ровными рядами, вплотную друг к другу. Мой взгляд задержался на одной из книг. На обложке было написано: *«Сорок восемь ступеней к Виноградарю»*. Среди богословских трудов и аскетических трактатов ее соседство казалось случайным. Но именно это придавало ей особую притягательность, пробудив во мне странное, почти непреодолимое желание открыть книгу. И я поддался порыву...

Первая страница оказалась оборванной. Едва я взглянул на нее, как почувствовал, что столкнулся с недосказанной историей, и эта незавершенность вдруг отозвалась во мне странным, почти щемящим предчувствием. На мгновение я замер, затем машинально потянулся к своему рюкзаку. Там, среди вещей, лежало то, что я хранил все эти долгие месяцы. То, что так и не смог передать Горе. Дрожащей рукой я приложил слегка помятый лист к порванной странице. И тогда увидел — он идеально подходил к разрыву — пазл сошелся. Я поспешно захлопнул книгу и вернул ее на полку. Клочок бумаги остался у меня в руке, будто жег кожу своей правдой. Я перевел дыхание и медленно повернул голову к отцу Лонгину. Он все еще сидел на стуле, с закрытыми глазами, казалось, погруженный в глубокий, но чуткий сон. Я шагнул к нему с предельной осторожностью, стараясь не разбудить.

Передо мной был все тот же человек, которого я привык видеть: обычный монах с густой бородой и слегка всклокоченными волосами. Но внезапно перед внутренним взором всплыла одна деталь, от которой у меня пересохло во рту, — *сломанные уши Горы*. Эта мысль на миг лишила меня дыхания. *А что, если?* Решив рискнуть, я медленно протянул руку к его волосам у виска. Мое сердце билось так громко, что, как мне казалось, он должен услышать его стук. Я не успел дотронуться до мирно дремавшего монаха, как его рука с поразительной силой и точностью схватила меня за запястье. Почувствовав его железную хватку, я вздрогнул. Глаза отца Лонгина медленно открылись. Он спокойно смотрел на меня с выражением, в котором не было ни гнева, ни удивления. Я же застыл, не в силах отвести взгляда.

— Не бойтесь, — тихо сказал он, ослабляя хватку. Затем показал свои сломанные уши.

— Гора... — вырвалось у меня шепотом.

— Отец Лонгин, — невозмутимо поправил он.

Я всмотрелся в лицо монаха, пытаясь найти в его чертах сходство с Горой. Обрамленное густой бородой, оно выглядело строго и непроницаемо, но глаза — те самые глаза, которые когда-то смотрели на мир со страстью и решимостью, — теперь были

отрешены от суеты. В их глубине я пытался найти отблески огня, что некогда бушевал в нем, той мощи, которая делала его легендой. Но вместо этого видел только смирение, которое укрывало его от прошлого, подобно тому, как монашеская ряса укрывает тело. Это был уже другой облик силы, перерожденной и направленной в глубь себя, что делало ее похожей на спящий вулкан. В этот момент я понял: Гора все еще жил в нем, но теперь несокрушимость и воля к победе стали частью его тишины, его покоя.

Я протянул отцу Лонгину вырванный клочок из книги. Он взял его, прочел написанное и медленно перевел взгляд на меня. Его глаза теперь смотрели иначе. В них затаилась боль — старая, запекшаяся, как рана, которая никогда не заживала.

— Откуда это? — спросил он негромко, но в его голосе отчетливо слышалась встревоженность.

— Из книги, — ответил я, чувствуя, как воздух в келье сгущается.

— Откуда это у вас? — переспросил он, и в словах теперь звучала требовательная строгость.

— Это было в дневнике Ламары, — ответил я, глядя ему в глаза, хотя его взгляд был невыносимо тяжелым и словно прожигал меня изнутри.

— Ламара не вела дневников! — грозно воскликнул монах, поднимаясь со стула. В этот миг он снова стал похож на Гору, оживляя образ, который так долго хранился в моей памяти.

Я застыл на месте, а затем едва слышно произнес:

— Видимо, вела…

Мой взгляд невольно скользнул к рюкзаку, лежащему в углу.

— Что там еще у вас припрятано? Доставайте… — произнес он голосом, в котором чувствовалось сдержанное волнение.

Я направился к рюкзаку, но мои движения были неспешными, как у человека, идущего по тонкому льду. Из внутреннего кармана я вынул дневник Ламары. Отец Лонгин мельком взглянул на него, и его плечи, только что напряженные, слегка опустились. Он резко сел обратно на стул, будто прошлое своим грузом придавило его к месту.

— Положите дневник на столик, пожалуйста, — сказал он уже тихим голосом.

Я выполнил его просьбу и, ощущая неловкость, направился к двери.

— Останьтесь, — раздалось за моей спиной. Его взгляд все еще был прикован к дневнику.

Не задавая лишних вопросов, я медленно развернулся и присел напротив монаха. Прошло немало времени, прежде чем он наконец нарушил повисшую между нами тишину.

— Вы ведь пришли сюда за ответами, не так ли?

— Я...

— Вы не один, кому нужны ответы.

— Знаю. Интерес журналистов к вам все еще не утихает…

— Нет, не они, — прервал он меня. — Ответы нужны и мне, Саба.

— Вам? — переспросил я, удивленный неожиданной откровенностью.

— Она ушла, оставив много вопросов…

Сделав паузу, я спросил:

— Думаете, ответы в этом дневнике?

Глаза отца Лонгина снова остановились на нем, и на мгновение он замолчал.

— Я боюсь думать о таком, — наконец произнес монах. Он говорил ровным голосом, но волнение в нем ощущалось почти физически. — Скажите, вы читали его?

— Нет, при всем моем желании…

— Саба? — его взгляд стал пристальным.

— Нет, правда. Я хоть и журналист, но этот дневник, он…

— Хорошо. Хорошо, что не читали, — прервал он меня, немного смягчившись.

Думаю, он поверил мне. Может, потому, что хотел поверить, или потому, что я не умею лгать.

Я кивнул, и вдруг отец Лонгин заявил:

— Тогда прочтем его вместе.

«Сам Гора предложил раскрыть тайны, приведшие меня сюда», — подумал я, снова кивнув и расплывшись в улыбке. Но, представив, что могло быть в этом дневнике, вызвавшем столь сильную тревогу у отшельника, — стиснул зубы.

— После литургии, — добавил он едва слышно, будто обращался не только ко мне, но и к самому себе. — Мы начнем после литургии…

Глава 3. Ступени

Я не мог сосредоточиться на службе. Мои мысли то и дело возвращались к дневнику Ламары, а глаза искали стрелки часов, ожидая окончания молебна.

Отец Лонгин, напротив, стоял неподвижно, погруженный в молитву. Я смотрел на него и понимал: передо мной не та яростная Гора, что некогда бросала вызов соперникам. Он открылся с другой стороны — тихим, молчаливым, но все еще продолжавшим борьбу. Только теперь битва разворачивалась внутри него, где демоны, терзавшие сердце, сражались за душу отшельника.

Впервые меня охватило сомнение: правильно ли я поступил, отдав отцу Лонгину дневник? Я знал, что откровения Ламары либо укажут ему путь к освобождению от тяжести пережитого, либо окончательно затворят в клетке его собственных страданий. Но сожалеть о содеянном было поздно — ключ уже был повернут в замке ожиданий, и дверь в прошлое начала приоткрываться, обещая изменить все…

К концу литургии мы с отцом Лонгином, словно по молчаливой договоренности, вышли из храма, и минуя трапезную, отправились в его келью, которая на время грозила превратиться в октагон, где должны были встретиться *Гора с монахом* — две стороны одной души.

Хоть и в крошечной келье отца Лонгина были лишь кушетка, маленький столик с двумя стульями и полка, заваленная книгами, нигде я не ощущал себя так взволнованно, как здесь. Меня переполняли эмоции, такие же яркие, как в детстве, когда я мечтал забраться в октагон к Горе, чтобы он поднял меня на свои мускулистые плечи, празднуя очередную победу за защиту чемпионского титула.

Мы сели друг напротив друга. Дневник Ламары лежал на столе, как незримое присутствие ее самой — уязвимой, честной, настоящей. Я смотрел на дневник, затаив дыхание, ожидая, когда монах решится взять его в руки…

— Не сейчас, — сказал он, поймав мой взгляд. — Сначала ваши вопросы.

Я открыл блокнот и бегло просмотрел записи. Но стоило мне вновь взглянуть на них, как стало ясно — все они сводились к одному вопросу, который не отпускал меня:

— Почему? Почему вы ушли?

Отец Лонгин повернул голову в сторону дневника. В его глазах сквозила давняя тоска.

— Из-за нее? — продолжил я уже тише.

Взглянув на меня, он произнес:

— Разве можно прийти к Богу из-за кого-то? Нет… Благодаря ей, — подчеркнул он, словно хотел, чтобы эти слова запомнились мне навсегда.

— Но вы… Вы же легенда UFC! И вы просто исчезли из спорта, как будто все это — ваши победы, люди, что за вас болели, — ничего для вас не значили? Никакой пресс-конференции, никакого заявления… Почему? — В этот момент я вдруг отчетливо услышал голос ребенка, идущий из глубины души, — того самого мальчишки, который когда-то был преданным зрителем Горы, восхищенно следившим за каждым его движением. И теперь этот мальчишка ждал объяснений, которые могли бы оправдать его исчезновение, показать, что его герой покинул его не просто так.

На мгновение отец Лонгин прикрыл глаза, а затем медленно произнес:

— Представьте, что вы нашли неисчерпаемый клад с сокровищами… Стали бы вы кричать об этом всему миру?

Его слова поразили меня своей простотой и глубиной. Я отрицательно покачал

головой, давая понять, что разделяю это решение.

— И я не стал, — заключил он.

— Прошу вас начать с самого начала, — сказал я, включая диктофон, чтобы не упустить ни слова.

— Когда мне было семь лет, мои родители приняли предложение переехать в Америку. Отца позвали в одну из IT-компаний, и он, недолго думая, согласился. Так, будучи еще ребенком, я был оторван от друзей, родных мест и всего того, что горячо любил.

В Америке мне удалось окончить художественную школу. Последние два года были особенно сложными, так как параллельно я занимался боевыми искусствами. Помню, как мои руки дрожали от усталости, когда я пытался держать карандаши после изнурительных тренировок. Но с Божьей помощью я все же обрадовал мать своим дипломом.

— Почему вы не продолжили свой путь в изобразительном искусстве?

— Это было для меня чем-то вроде отдушины — хобби, которое помогало мне найти равновесие. Кровь в моих жилах текла слишком бурным потоком, карандаши бы не выдержали этих импульсов и сломались.

— Вы не жалеете, что оставили творчество ради спорта?

— Искусство спасло мое сердце, открыло его для всего прекрасного, что создал Господь. Борьба же научила дисциплине, закалила тело и укрепила дух. И то и другое стало благодатной почвой на пути к Богу. Но этого было недостаточно… пока не появилась она. — Отец Лонгин снова бросил взгляд на дневник. — Ламара взрастила на этой почве дерево и стала заботиться о нем, питая удивительными историями из своей жизни, освещая улыбкой ветви моей души. Она была и солнцем, и дождем — всем, что было так необходимо для моего духовного роста.

— Когда это произошло?

— Говорят, стержень человека закладывается до семи лет. Поэтому то, кем я являюсь, взяло начало здесь, на родной земле...

Как-то мы со съемочной командой приехали в Грузию, чтобы снять фильм о моих корнях. Был январь, мой день рождения. Мне исполнилось тридцать три года. Следуя традиции, которую привила мне мать, я отправился в собор Самеба.

В детстве, на каждый мой день рождения, она брала меня за руку и вела в храм, чтобы зажечь самую большую свечу перед иконой Божьей Матери — я был вымоленным ребенком, поскольку она долго не могла зачать. После и я стал зажигать свечу, благодаря Богородицу за то, что мне посчастливилось быть сыном моей матери.

Но в то утро я проспал службу и к тому времени, как вошел в собор, все уже начали расходиться. Но храм не показался мне пустым, напротив — я ощутил что-то новое для себя, чувство, которое не сразу понял.

— Что это было за чувство?

— Присутствия, — произнес он спокойно, словно вновь переживая тот момент. — До того дня я не чувствовал всей этой благодати, которая наполняет храмы изнутри. Но в то утро мне казалось, что святые ждут меня. Ждут не только меня… Они ждали моего возвращения.

— На родину?

— К Богу. Хотя эти понятия уже давно стали для меня единым целым. — На мгновение отец Лонгин замолчал, будто заглядывая в прошлое. В его глазах отразилось что-то далекое, мимолетное, но в то же время пронзительное. Затем он едва заметно улыбнулся — той улыбкой, которая появляется, когда вспоминаешь нечто важное, но чего уже не вернуть. — Когда я вышел из храма, то увидел ее. Она сидела на ступеньках, закутавшись в старую шаль. Спускаясь, я на мгновение остановился и положил немного денег рядом с ее сумкой — так, как обычно подавал милостыню просящим, — и, не оглядываясь, пошел

дальше вниз по ступеням.

— *«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся!»*[1] — раздалось за моей спиной.

Этот оклик... он был таким громким, что словно пробил что-то внутри меня. Я обернулся и посмотрел на нее — и в этот момент все изменилось.

Я указал пальцем на себя, слегка приподняв брови, чтобы убедиться, что слова незнакомки были адресованы мне.

— Да, это я вам! — решительно выкрикнула она.

Я медленно направился к девушке, чувствуя странную смесь любопытства и раздражения.

— Что, простите? — спросил я, склоняя голову чуть набок.

Уже чуть тише она вновь произнесла:

— *«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся»*[2].

Усмехнувшись, я положил еще немного денег рядом с ее сумкой.

— Этого хватит на еду и одежду, — сказал я, разворачиваясь, чтобы уйти.

— Накорми меня сам!

Ее слова прозвучали так громко и отчетливо, что я остановился. Улыбка на моем лице исчезла, сменившись сардонической гримасой.

— Я дал тебе денег! Разве этого мало?!

— Накорми меня сам! — повторила незнакомка, приподнимаясь и глядя прямо мне в глаза.

Я рассмеялся, пытаясь скрыть смятение, но, встретив ее взгляд, замер. В нем было нечто необычайное для меня — не просьба, а вера, такая чистая и непреклонная, что я не мог этим пренебречь.

— А ты хороша, — сказал я, пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией. — Ладно, Божье наказание, пойдем со мной.

Она чуть улыбнулась, как будто знала, что я поступлю именно так. Ее уверенность была почти невыносимой, но в ней чувствовалась какая-то притягательная истина.

Единственное кафе неподалеку от храма оказалось шумным и оживленным. Мы устроились за крайним столиком у окна, вдали от суеты. Я протянул ей меню и с улыбкой поинтересовался:

— Что закажет принцесса?

Не глядя в меню, она произнесла:

— *Чакапули*[3].

— М-м-м… Прекрасный выбор! Если мне не изменяет память, вкус этого блюда хорошо раскрывается с вином! Какое выберешь?

— *Ркацители*, — ответила она ровным голосом, словно выбор был очевиден.

— И почему именно его? — с любопытством поинтересовался я.

— Ну, традиционно чакапули готовят с белым вином. Легкая кислотность и свежесть напитка подчеркивают вкус зелени и соуса. Поэтому подать к блюду то же вино — идеальное решение, на мой взгляд.

— Ого, да ты настоящий гурман! — заметил я с искренним удивлением, слушая, как она уверенно рассуждает о национальной кухне.

— На самом деле я помогаю тебе сделать доброе дело, ведь я люблю вкусно поесть, — произнесла она шутливо.

— Нет, что ты, милая, я рад! Твой вкус впечатляет! Кстати, как тебя зовут?

— Я…

Она не успела ответить — к нашему столику подошла молодая пара.

— Простите, вы не против фото? — обратился ко мне парень.

— Конечно. — Я натянул дежурную улыбку, думая, что сейчас они присядут, чтобы сфотографироваться со мной, как это часто бывало.

Но парень передал мне фотоаппарат, и они сели рядом с ней.

— Не понял, — вырвалось у меня, пока я смотрел, как эти трое ждут от меня каких-то действий.

— Нужно нажать на кнопку, там, в правом верхнем углу, — доброжелательно пояснила мне спутница молодого человека.

Я, все еще пребывая в ступоре, механически сделал несколько снимков и вернул фотоаппарат владельцу.

— Спасибо вам большое! — радостно сказали они и, счастливые, удалились.

Я смотрел им вслед, пытаясь осознать произошедшее, пока незнакомка за моим столом еле сдерживала улыбку.

— Ламара, — продолжила она, — меня зовут Ламара Гловели.

— Ага, — произнес я в растерянности. — И ты?..

— Я художница.

— Похоже, ты очень известная художница.

— Ну-у, Грузия — маленькая страна, тут все друг друга знают, — произнесла она, пожимая плечами.

— Надо же, какая скромность, — ответил я с недоверчивым сарказмом.

— Твое удивление слегка оскорбительно для девушки с моим культурным наследием.

— Даже так? — я склонился к ней и шепотом произнес: —Напомни, это не ты притворялась продрогшей и изголодавшейся бездомной, сидя на ступенях храма? Ладно, может быть, насчет последнего ты и не врала, — подчеркнул я, наблюдая, как она с интересом разглядывает десерты в меню, — но ты меня разыграла!

— С чего такие выводы? — спросила она, слегка приподняв бровь и посмотрев прямо на меня.

— Да ладно, признайся уже.

— Нет объекта без субъекта, — ответила она, вернув свой взгляд на меню.

— Что? — переспросил я, нахмурившись, будто она говорила на другом языке.

— Ты увидел меня замерзшей и услышал слова из Писания, где Христос учит делиться с нуждающимися. Но то, как ты меня воспринял, — это исключительно твое видение, — невозмутимо сказала Ламара, будто объясняя что-то очевидное. — Я хотел саркастически отшутиться, но она продолжила, не оставляя мне шанса: — Ведь возможно, кто-то другой увидел бы обычную прихожанку с четками, или девушку, которая присела в ожидании настоятеля, чтобы получить у него благословение. А может ту, кто просто считает ступеньки.

— Возмо-ожно, — протянул я. — И что ты делала там в такой холод?

Она достала четки и аккуратно положила их на стол перед собой.

— Я присела на ступенях храма, чтобы собраться с мыслями и дать себе немного покоя. Голова кипела так, что я не ощущала холода. Молитва и перебирание четок всегда помогают мне справляться с таким состоянием. И да, я не была голодной, но мой аппетит — это отдельная история, — с улыбкой заключила она.

— Мы готовы перейти к десерту, — произнес я официанту, не в силах отвести взгляда от Ламары.

После обеда мы вернулись к Самеба, и у меня возникло ощущение, что я проводил ее до дома. Стоя у подножья храма, мне вдруг пришло в голову спросить:

— *Девушка, считающая ступени?*

— Сорок восемь, — уверенно произнесла она. — Я знаю все про этот город.

Я посмотрел на ступени, а после с ухмылкой на нее.

— И что ты делаешь со всей этой информацией, записываешь в какой-нибудь «дневник памяти»?

— Я не веду дневники. Как минимум потому, что не хотела бы, чтоб его однажды прочли. Ибо: *«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы»*[4], — так сказал Христос.

— Тогда почему?

— Потому что я росла вместе с этим городом. Плакала на его кладбищах, смеялась на его праздниках, молилась в его храмах, танцевала на его улицах. Это мой город. Вот и все.

Я слушал ее, думая о том, что с самого начала нашего общения она не перестает меня поражать.

— Скоро начнутся съемки фильма о моих корнях, а я почти ничего не помню о Тбилиси. И похоже, мне не обойтись без гида. — Сказав это, я пристально взглянул на нее.

— Не-ет, даже не начинай, — покачала она головой. — Я не могу. У меня нет на это времени. И не смотри на меня так.

— Что мне сделать, чтобы ты согласилась? Проси что угодно, — сказал я, сложив ладони в молитвенном жесте.

И вдруг без всяких колебаний она ответила:

— Ты будешь кормить со мной уличных животных и навещать детей в приюте. И да, место и время съемок выбираю я.

— Постой, так ты провела меня?

— Ну вот, мы вернулись к началу…

— В твоей голове созрел этот план еще тогда, когда я заговорил о съемках фильма, верно? Ты знала, что я попрошу тебя о помощи, но не хотела просто так соглашаться. И поэтому сначала отказалась, чтобы я стал просить тебя на твоих условиях. Я ведь прав?

— Ты в курсе, что у тебя проблемы с доверием?

— А тут точно сорок восемь ступеней? — спросил я, прищурившись и подняв палец, будто всерьез начал считать их по одной. — Раз… два… три…

— Ну все, я ухожу! — твердо заявила Ламара и стремительно направилась к выходу с прихрамовой территории.

— А ты в курсе, что у тебя проблемы с чувством юмора? — крикнул я ей вслед, стараясь сохранить легкость в голосе. — Погоди, я уже почти досчитал! — добавил я громче, надеясь, что шутка сработает и она остановится, но ее шаги только ускорились.

Я хотел последовать за ней, но гордыня сковала мои ноги, словно невидимые цепи. В конце концов я привык считать, что, если что-то идет не так, как мне хотелось бы, значит, этому просто не суждено случиться. Думать так было куда проще, чем мучиться угрызениями совести или, что еще сложнее, попытаться что-то изменить. Ведь для этого нужно было бы набраться смелости и признать свою ошибку, а это давалось мне труднее всего.

Но на следующее утро я вновь пришел к ступеням Самеба и просидел на них до вечера. Я не понимал, почему, но точно знал, что должен там быть.

***

— Как это, отец Лонгин?

— Это невозможно объяснить или оспорить, потому что это выше логики и рассудка. Ты просто знаешь, что должен поступить так, как велит тебе зов. Многие путают его с порывом сердца, но на самом деле это голос души — тихий и непреклонный, словно рука Бога, лежащая на твоем плече.

***

— Все то время, что я просидел там, я думал о Ламаре и о своих словах. Хоть я и не хотел ее обидеть, они могли прозвучать иначе. Я подумал о том, что мог задеть ее своей беспечностью, и эта мысль заставляла меня ощущать некое беспокойство.

Но вот я услышал голос за своей спиной:

— Все ступеньки посчитал?

— Рад тебя видеть! — сказал я, мгновенно привстав.

Она пожала плечами и прошла мимо.

— Хорошо, — произнес я ей вслед, закрывая глаза. Но она даже не обернулась. — Хорошо! — повторил я громче, но она продолжала идти к выходу, будто не слышала меня.

Тогда, стиснув зубы, я выдавил из себя то, что на самом деле подразумевало это слово:

— Извини!

Горé, самоуверенному гордецу, пришлось извиниться перед девушкой за то, в чем, как ему казалось, не было его вины. И это, безусловно, выводило меня из себя.

Но она наконец обернулась. На ее лице появилась улыбка — простая и теплая. И в этот момент я вдруг почувствовал странное облегчение.

— Ну, вот видишь, не так уж и сложно.

— Не сложно что?

— Извиняться.

— Для меня это не проблема, если я действительно неправ. Но это не тот случай, — ответил я с ноткой сарказма.

— Зачем же ты тогда извинился, если считаешь себя правым?

— Твой военный марш по-другому было не остановить, — сказал я, пожав плечами.

Ламара лишь кротко посмотрела на меня и непринужденно перевела разговор на другую тему.

— Когда начало съемок? — спросила она.

— Уже завтра.

— Тогда встретимся на этом же месте.

Кажется, услышав это, я просветлел лицом.

— К какой ступени за тобой подъехать?

— То есть, говоришь, мне придется смириться с твоим чувством юмора на время съемок?

— Не смириться, а наслаждаться. Ты привыкнешь.

Она покачала головой:

— Будь здесь в семь утра. Только не опаздывай.

— Почему так рано?

— Чтобы рассвет не пропустить. Утренний город не простит, если ты его проспишь.

— Ну что же, готовься, Гловели, — сказал я, протягивая ей руку.

— До встречи, Кипиани, — ответила она, сжав мою ладонь. Наше рукопожатие длилось на мгновение дольше, чем было принято, словно это была не просто договоренность, а начало чего-то большего…

Глава 4. Самеба

На следующее утро у ворот Самеба нас ждал экскурсионный автобус. Ламара стояла на его втором этаже. В шляпке, с солнцезащитными очками и громкоговорителем в руках, она выглядела так, будто собиралась объявить начало мирового тура.

— Замечательный день, замечательный! Доброе утро, Кипиани и его команда! Прошу пройти на борт нашего автобуса! Здесь нет устриц и шампанского, но кому они нужны, когда впереди нас ждут горячие *хинкали*, прохладный *боржоми* и много новых впечатлений! А для кого-то — и забытых старых!

Ее энергия была так заразительна, что, наблюдая за ней, я не мог не улыбнуться. И даже сарказм в мой адрес показался мне забавным.

— А это еще кто? — спросил один из товарищей со съемочной группы.

— Не спеши с выводами, — ответил я, пряча ухмылку. — Лучше поторопимся, пока она окончательно не привлекла к нам всеобщее внимание.

Я поднялся к Ламаре с той же решимостью, с какой забирался на ринг.

— Добро пожаловать, Кипиани! — произнесла она, все еще держа у рта громкоговоритель.

— Надеюсь! Но что это только что было?

— Два пальца, — ответила она, демонстрируя соответствующий жест. — Ты опоздал. И я не терплю непунктуальности.

— Всего на пять минут!

— На двадцать пять!

— Хорошо, я понял: проспать рассвет — равносильно концу света! Извини! Только убери громкоговоритель от моего уха, пожалуйста! Благодарю!

Пока мы разговаривали, съемочная группа разместилась в автобусе. Ламара направила громкоговоритель в их сторону и произнесла:

— Ну что ж, раз все наконец-то в сборе, пора отправляться к нашей первой точке! Но прежде… — Она сделала эффектную паузу, словно готовясь объявить нечто важное. — Пристегните ремни безопасности!

— Это что, школьный автобус? — засмеялись ребята.

— Безопасность прежде всего! — с неподражаемой серьезностью ответила Ламара, глядя на них поверх очков.

— Она так и будет кричать в эту зловещую трубу? — возмутился наш звукооператор, страдающий от похмелья.

— Ребят, пристегнитесь, иначе этот автобус не сдвинется с места, — произнес я, стоя за спиной Ламары. А после тихо шепнул ей на ухо: — Она упряма до чертиков.

Ламара мельком взглянула через плечо, и уголки ее губ тронула легкая улыбка.

Наконец автобус двинулся с места. Но ехать пришлось недолго. Примерно секунд десять — именно столько занял разворот к воротам храма, где мы встретились ранее.

— Мы на месте! Первая локация — храм Самеба! — объявила Ламара.

— Это что, шутка? — недоуменно спросил я.

— Да она издеваетя! Чем ты ей так насолил, брат? — Из глубины автобуса раздался смех.

— Что ты творишь? — тихо спросил я ее.

— Чудо! Скоро вся эта команда неотесанных парней войдет в главный кафедральный собор Грузии, где вот-вот начнется молебен. Поспешим! — воскликнула она с

неподдельной радостью.

— Она только что назвала нас неотесанными? — спросил оператор, выглянув из-за камеры.

— Это про тебя, Купер! — тут же выкрикнул ему наш режиссер Гога, давясь от смеха. Автобус буквально затрясся от общего хохота.

Купер, пожав плечами, поправил объектив и с серьезным видом отшутился:

— Что поделать, парни, я — звезда этой ленты!

— Особенно в сцене с хачапури, где ты больше ел, чем снимал! — подколол Купера кто-то из команды.

Смех разгорелся с новой силой.

— Молебен? — шепотом переспросил я Ламару, не обращая внимания на развеселившихся товарищей.

— Разве фильм не о твоих картвельских корнях? Или я что-то путаю и ты уже стал американцем? — с прищуром спросила она меня.

— Грузин! — твердо ответил я, давая понять, что вызов принят.

— Ну что ж, грузин, как насчет того, чтобы твои ребята сняли, как мы молимся за родину и близких нам людей? Как с клироса разносится многоголосое пение, в котором есть все, за что любят эту землю... Лица прихожан, чье разнообразие отражает единство и силу молебна…

Купер, проникшись моментом, направил камеру на Ламару. Заметив это, она продолжила говорить:

— Вера — самое важное в жизни грузина. Вера и семья. Мы молимся, даже когда пьем вино и поем песни во время *супры*[5]. И зачастую делаем это в кругу родных, передавая ценности младшим поколениям. Это укрепляет наши семейные узы и сохраняет целостность.

Глядя на ребят, я понимал — ее слова находили отклик в каждом из них. Будто Ламара задевала тонкую струну, напоминая о чем-то важном, давно забытом. Когда она о чем-то рассказывала, ее речь проникала сквозь барьеры разума и отыскивали затаенный путь к сердцу, заставляя душу трепетать. Она говорила о том, что таилось под сердцем, но никак не находило выхода — это было чувство дома.

Так случилось и со мной, но не сразу...

***

Видя мой задумчивый взгляд, отец Лонгин добавил:

— Возможно, вы ожидаете услышать о каком-то поворотном моменте, который изменил меня, но его не было, Саба. Душа не может возвыситься в один миг. Она подобна виноградной лозе, которой требуется время, чтобы прорасти и дать плоды.

Я кротко кивнул, и он продолжил свой рассказ.

***

Прежде чем мы вошли в храм, Ламара остановилась перед группой и немного поведала об истории Самеба.

— Этот собор называют народным, поскольку он был построен на средства простых людей. По инициативе нашего патриарха с 1995 года начался сбор пожертвований по всему Тбилиси. Собирали буквально с миру по нитке. И конечно, богатые тоже помогали, но главное — это было общее дело…

Я слушал ее, но слова ускользали: все мое внимание приковывала ее мимика — живая и искренняя. В Ламаре было что-то неуловимо милое, и я просто не мог оторвать от нее

взгляда…

— А пение хора… — Она чуть улыбнулась. — Вы сами все услышите. Пройдемте.

Мы поднялись по широким ступеням и вошли внутрь храма. Сверху, с хоровой галереи, разносилось то самое знаменитое грузинское многоголосье, которое не спутаешь ни с чем: древняя живая полифония.

Ламара обвела взглядом притихшую от восторга группу и негромко продолжила:

— Перед вами одна из главных святынь храма — крест Святой Нино. По церковному преданию, дерево, под которым она молилась, начало источать миро. Говорят, что животные, подходившие к дереву, исцелялись. И тогда было решено вырезать из него три креста. Один поставили на горе Джвари, второй — в Уджарме, а третий, сохранившийся, находится здесь, перед алтарем.

Некоторое время мы молча стояли перед крестом. Затем Ламара жестом пригласила нас пройти дальше, к стеклянной витрине, где были выставлены древние иконы.

— Эти иконы VIII–IX века, — пояснила она. — Обычно такие реликвии хранятся в музеях, но с благословения Патриарха было решено оставить их здесь, в Самеба.

Мы переглянулись: было неожиданно услышать, что такие старинные иконы не спрятаны в музейных хранилищах, а находятся в открытом доступе.

— Обратите внимание, — продолжила она, указывая на икону в витрине, стоящую чуть поодаль от остальных. — Эту икону Святой Троицы написал сам Католикос-Патриарх Илия II. В юности он занимался живописью, а позднее стал писать и иконы. Этот образ — одна из его работ, переданная в храм.

Ребята продолжили съемку: двигаясь медленно, почти бесшумно, стараясь не привлекать к себе внимания.

Я стоял рядом и смотрел на икону, на крест, на людей, пришедших помолиться. Впервые за долгое время я никуда не спешил. И вдруг я ощутил: здесь сердце вспоминает то, о чем разум давно забыл...

***

Глаза отца Лонгина на мгновение вновь наполнились теплом.

— Вы так же стойко отстояли молебен, как и сейчас, выходя последним из храма? — шутливо спросил я его.

— Ох, мне далось это с трудом: мысли уносили то в кафе, то в тренировочный зал, то еще куда-то. Я весь измаялся в попытках собраться, а вот Ламара стояла как неприступная скала.

Тем утром я видел много лиц в храме, но ее было самым красивым. Знаете, что делало его особенным? Ее кротость. То, с какой покорностью и любовью она клала земные поклоны, осеняла себя крестным знамением и воспевала молитвы. И как слезы текли по ее щекам, когда все в один голос произносили Символ веры. Позже, когда мы вышли из храма, она спросила меня, что я почувствовал в тот момент? Но я не знал, что ответить, — был в смятении. И тогда она сказала: *«Я верю, что пока душа трепещет перед Символом веры, мы живы для вечной жизни»*.

— Интересная мысль… А когда вы впервые приступили к Христовым Таинствам, отец?

— Это было три года спустя, когда я был готов.

Сказав это, отец Лонгин будто погрузился в свои мысли, как с ним это часто случалось. Его взгляд задержался где-то вдалеке, а на лице отразилось сожаление — о времени, когда он жил без Христа.

Я замолчал, не желая нарушать повисшую тишину. Спустя несколько минут я решился прервать затянувшееся молчание:

— Отец Лонгин?

Он перевел на меня взгляд. Его глаза чуть прояснились, будто он вернулся из далекого прошлого.

***

— Затем мы отправились есть хинкали. Это не входило в программу, но Ламара так умело и с таким аппетитом их ела, что я решил включить это в наш фильм, где я должен был рассказывать о традиционной грузинской кухне.

Впервые за время нашего общения с отцом Лонгином я увидел, как он тихонько хохотнул.

— Вы бы видели, как она их ела, — продолжил он, радостно смеясь.

— Пятнадцать хвостиков, — сказал я, заразившись его смехом.

— Вы видели! — удивленно воскликнул он.

— Я видел все, что было связано с Горой. Вы были моим героем.

Его смех вдруг угас.

— Каким я был героем… Я наделал кучу ошибок, Саба...

— *«Все могут ошибаться, но лишь сильные духом способны подняться после падения и продолжить путь»* — вы сказали это в одном из интервью.

— Да, это было после того, как я проиграл одному бойцу из Сенегала.

— Саадат Халиф.

— Да, Саадат. Достойный был соперник. — Выдержав короткую паузу, он добавил: — Но мои ошибки связаны не с теми боями, где я потерпел поражение, а в которых одержал победу. К моему великому горю, я покалечил много ребят. Теперь все они в моих молитвах, в которых я прошу Бога об их здравии.

Раздался звон колоколов, призывающий на молитву. Мы уже вышли за порог кельи, когда я заметил, что отец Лонгин на полпути оглянулся. Его взгляд задержался на дневнике, оставленном на столе, будто тот звал его, напоминая, что время ответов еще не пришло, но оно уже близится…

Глава 5. Мать Картли

После службы мы вновь отправились в прошлое моего героя. И наш путь лежал к холму Сололаки.

Мы подъехали к площадке, откуда открывался великолепный вид на город, а чуть поодаль статуя Матерь Картли встречала нас своим молчаливым взглядом. Высокая женская фигура в длинной национальной одежде, возвышающаяся над Тбилиси, смотрела вдаль. В чертах ее лица читались мягкость и холодная решимость. В одной руке она держала чашу с вином, которую предлагала друзьям, а в другой — меч, чуть наклоненный вниз, но готовый взметнуться, если придется защищать родную землю.

Ламара не случайно выбрала это место для начала съемок — хотела показать гостеприимство грузинского народа. Так, она ненадолго скрылась в салоне автобуса и вернулась с деревянным ящиком в руках.

Я с любопытством наблюдал, как она открывает крышку и достает оттуда несколько глиняных кубков.

— Что это?

— Семейная коллекция, — ответила она, раздавая их. — Мой отец всегда говорил: *настоящее вино — из той земли, которая держит твои корни*. Я подумала, это хорошее начало.

— Ты серьезно привезла их с собой? — удивился наш оператор, бережно принимая кубок.

— Конечно. Разве можно пить вино из пластика на таком месте? — шутливо произнесла Ламара, разливая красное терпкое *саперави.*

— За что мы пьем? — спросил я ее.

— Для начала, *могесалмебит Сакартвелоши*![6] — сказала она с улыбкой, подняв свою чашу с вином. — Я знаю, что почти каждый из вас родился здесь, но не все успели вырасти на этой земле. Кто-то из вас, — она взглянула на меня, — давно тут не был, а кто-то, — кивнула в сторону Купера, — впервые ступил на эту землю. Пьем за тех, кто помнит свои корни, и за тех, кто, хоть и временно, называет ее своим домом! *Кэтили икхос тквэни мобрдзанэба!*[7]

Все подняли кубки, и я ощутил, как слова Ламары, словно виноградная лоза, обвивают душу, пробуждая в сердце давнюю привязанность к этому месту.

Купер сделал глоток вина и с доброй иронией заметил:

— Ну что ж, господа, с вашим грузинским гостеприимством вы и врага за стол посадите! Такое чувство, будто меня здесь не просто приняли — а вписали в семейную хронику!

Гога улыбчиво кивнул:

— Осторожней, Купер, так и женишься тут случайно!

— Эй! — Купер сделал вид, что испугался. — Я еще не готов к такой степени интеграции!

Ребята рассмеялись, и Ламара, улыбаясь, добавила:

— У нас не бывает «случайно». У нас все — по любви. И особенно гостеприимство.

— Хорошо сказано! — произнес я, поднимая свой бокал. А потом уже громче добавил: — Теперь позволь, я познакомлю тебя с нашей командой поближе! Официальное знакомство — как грузинский тост, без него никак!

— Я в предвкушении!

— Начнем с Купера, нашего оператора! Его мать гречанка, отец — американец. В спорте он поддерживает тех, кто реже выходит из кадра.

Купер скосил на меня взгляд:

— Статистика важна. Чем больше кадров, тем ближе победа.

— Видите? Человек верен принципам! Дальше — Гога! Режиссер с грузинской душой и терпением, которого хватает ровно до третьего дубля.

— Точно, — спокойно кивнул Гога. — Первый раз — подскажу. Второй раз — покажу. На третий — ты идешь пить чай, а я — чачу.

Ламара рассмеялась.

— Теперь Нико, наш звукооператор! Если работа Гоги заканчивается чачей, то работа Нико с нее только начинается, — пошутил я, подмигнув товарищу. — Говорят, он может настроить аппаратуру так, что слышит, как пробка крутится в кармане у Гоги.

— Всем известно, почему я с такой радостью согласился на этот проект, — подмигнул мне в ответ Нико.

— Потому что микрофон первым реагирует на звук открытой чачи? — усмехнулся Гога.

Нико задумчиво посмотрел на оборудование.

— Нет. Просто звук чачи всегда чище, чем звук актеров с третьего дубля.

Смех прокатился волной, но все постарались сделать вид, что смеются над чем-то другим.

— А вот и Тамаз, наш светотехник! Мы придумали про него поговорку… — Стоило мне это произнести, как ребята тут же дружно подхватили: *«Если кто-то из нас пропадет, Тамаз подсветит и найдет!»* — Он почти всегда молчит, чтобы все слушали Гогу. — Тамаз щелкнул фонариком в сторону Гоги и кивнул, вызвав новый взрыв смеха. — Вот и вся команда! Как видишь, они скромные и исключительно талантливые!

Ламара подняла чашу:

— Похоже, это будет интересное путешествие!

— Теперь твоя очередь, Гловели, — сказал я, подливая ей еще немного вина. — Давай, расскажи что-нибудь о себе.

Она опустила взгляд, наблюдая, как капли вина медленно стекают по краю ее кубка.

— Я просто девушка, которая считает ступеньки у храмов.

— Неплохо, — усмехнулся Гога, скрестив руки на груди. — Но звучит как половина правды. Расскажи побольше о том, кто ты? Чем занимаешься?

Купер, не говоря ни слова, приблизил камеру, поймав ее профиль.

— А что рассказывать? Я не гид, если ты об этом.

— Мы уже заметили, — вставил Нико. — Гиды обычно не кричат в громкоговоритель, если только не обнаружили, что половина группы ушла в хинкальную.

Команда захихикала, и Ламара, улыбнувшись, сдалась:

— Мой дед делал вино в Кахетии. Отец преподавал историю. Половину детства я провела с ним в музеях и на раскопках. Рисовала, чтобы не скучать.

— «Рисовала», — протянул Гога, бросив на нее взгляд с легкой ухмылкой. — Это та часть, которую ты явно преуменьшаешь.

— Я просто хотела занять чем-то руки, вот и пошла в художку.

— И кто бы мог подумать, что «занять руки» выльется в картину, которая висит в нашем отеле, — произнес я, приподняв брови. — Скажи, это копия? Потому что оригинал, кажется, стоит как половина этого отеля.

Она взглянула на меня, и в ее глазах мелькнуло смущение, будто ее поймали с поличным.

— Это и есть оригинал, — спокойно сказала Ламара. — Я подарила полотно владельцу

отеля в знак благодарности за участие в реставрации одного старого храма.

Купер тихо присвистнул, а Нико с Гогой переглянулись.

— Ну что ж, друзья, — сказал я, когда Ламара скромно отвела взгляд. — Мы пьем с великой художницей, которая, между прочим, согласилась стать нашим *гидом*!

— Я не великая художница, но охотно покажу вам ту Грузию, которую люблю.

— И это лучше любого расписания, — добавил я, поднимая свой кубок. — За Ламару!

— За нового друга нашей команды! — громко провозгласил Гога.

Все повторили его слова и испили вина.

Я приблизился к Ламаре и шепнул ей на ухо:

— Теперь ты официально часть нашей банды, Гловели.

— Я в этой *банде* с первой ступеньки Самеба, — ответила она и легко коснулась моего кубка. Будто знала все с самого начала…

***

Отец Лонгин немного помолчал, словно воспоминания вновь предстали перед его внутренним взором, и затем продолжил:

— В Ламаре удивительным образом сочетались дух воина и сердце маленькой девочки. В тот вечер я заметил, что статуя, видимая из разных уголков города, никогда не казалась мне такой живой, как в ее присутствии. Казалось, этот каменный символ обретал душу рядом с ней.

Мы общались, запивая слова вином, пока солнце не растаяло на наших глазах, оставив на память закат, который мне не забыть…

— Каким был тот закат, что спустя столько лет живет в вашей памяти?

Монах прикрыл глаза и произнес:

— В тот вечер закат не только окрашивал небесный свод. — Его голос стал тише, будто он боялся спугнуть само воспоминание. — Он жил, дышал, шептал…

Небо расплавилось в охре и пурпуре, медленно расползаясь по линии горизонта, как огонь по тонкой бумаге. Город словно впитывал это сияние, жадно пируя красками заката, наполняя улицы мягким светом. Солнечные отблески скользили по стеклянным фасадам, замирали на позолоте куполов и вспыхивали бликами в реке, прежде чем кануть в сгущающиеся сумерки.

Глядя на эти краски, все переживания, радости и горести, связанные с Тбилиси, снова ожили в моей памяти. Тогда я понял, что этот город живет внутри меня, пульсируя в такт с сердцем — это та часть, которая будет во мне, пока светит это солнце и существует этот закат…

— Красиво…

Отец Лонгин поднял глаза и ответил:

— Это про Ламару… Закат был лишь отражением ее глаз. Казалось, солнце спускалось, только чтобы коснуться нежного овала ее лица... Я видел, как багрянец растекался в ее зрачках, будто небо решило спрятаться там. В тот момент я вдруг ощутил, что хочу обнять ее так же крепко, как и этот город — безоговорочно и всем сердцем. Но тогда — всего лишь тихо прошептал ей: «*Мадлоба*»[8]. А потом осознал, что важные слова так и остаются внутри. И чем дольше ты молчишь, тем тяжелее становится их нести…

Глава 6. Крепость Нарикала

На следующий день мы продолжили съемки фильма, направившись в крепость Нарикала. Утро было холодным, и солнечные лучи прокладывали себе путь сквозь влажный и густой воздух, плавно раздвигая небесный занавес над городом. Камни под ногами покрывал тонкий налет инея, и с каждым шагом я чувствовал, как мороз цепляется за обувь и проникает под воротник.

— Почему здесь и так рано? — зевнув, спросил я Ламару, нарушая хруст наших шагов по покрытой инеем земле.

— Чтобы увидеть то, что рождается на рассвете.

Я огляделся. Тбилиси лежал внизу — серый, с покатыми крышами, меж которых вился тонкий дымок из труб. С высоты казалось, будто город еще не проснулся, затаившись в ожидании тепла.

— Эта крепость, в свое время служившая защитой города от врагов, олицетворяет дух грузинского патриотизма и стойкости, — сообщила нам Ламара. — Нарикала — это напоминание о том, что, несмотря на трудности и испытания, мы должны сохранять верность своим корням и испытывать гордость за свою историю, которая способна вдохновлять нас на новые подвиги.

— Конечно. Что же еще, как не руины и предания, сформирует нам дорогу в будущее, — сказал я с легкой усмешкой.

Ламара улыбнулась едва заметно:

— Иногда слова опережают мысли. Но ты поймешь.

— Спасибо за аванс, — пробормотал я с привычной ухмылкой. Но внутри скребло ощущение, что она понимала меня лучше, чем я сам.

Ламара остановилась и провела ладонью по холодному камню. В ее движении было что-то трепетное, как будто она касалась чего-то живого.

Обернувшись, она взглянула на меня и добавила:

— Мне хотелось, чтобы в фильме была эта крепость, потому что она воплощает ту несломимую силу духа, которая есть и в тебе.

Я замешкался. На языке вертелась очередная колкость, но я ее проглотил. Она смотрела на меня с такой искренней уверенностью, будто видела то, чего я сам не замечал. Мне казалось, если я оступлюсь, ее глаза удержат меня и подскажут верный путь, как компас, который никогда не ошибается. И я вдруг почувствовал себя неловко в броне моей иронии.

Купер чуть приблизился, стараясь поймать в кадр ее профиль на фоне пробуждающегося города.

— Видите этот склон? — Ламара указала на узкую тропу, петляющую вниз к крышам старого Тбилиси. — По нему поднимались защитники города. Многие из них знали, что могут не вернуться, но шли. Они понимали: если падет Нарикала — падет и город. Были времена, когда крепость завоевали, разрушали, но потом вновь восстанавливали. В этом ее сила — и наша тоже.

Ламара вновь остановила свой взгляд на мне.

Я кивнул, но ничего не сказал. Камера продолжала снимать. Тогда я не придавал значения тому, что самое важное в этом фильме не войдет в кадр. Оно останется здесь — в холодных камнях Нарикалы и в голосе Ламары, звучащем в утренней тишине.

***

— Что же там осталось, отец Лонгин?

— Пока я пытался понять историю крепости, Ламара рассказывала мне свою собственную. Она говорила о Нарикале как о верном товарище, который стоял за спиной Тбилиси и охранял его даже тогда, когда все остальное рушилось. Тогда я не сразу понял, что она говорила обо мне… О том, кем я мог бы стать для нее...

Отец Лонгин не договорил, но я почувствовал, что продолжение истории живет в его сердце, там, где уже нет места сожалению. Лишь тишине утра с холодным, пронизывающим улицы ветром. И покою старых камней крепости, переживших слишком многое, чтобы говорить. И в этом безмолвии продолжали жить слова Ламары. Они не исчезли, а просочились в трещины старых стен, затаившись там в ожидании своего часа, чтобы спустя годы найти путь обратно к Горе. Теперь эти слова живут в другой крепости — в молчаливых стенах сердца отца Лонгина.

Глава 7. Джвари

Солнце настигло нас по дороге в Мцхету. Город пробуждался как мудрый старик, которому некуда спешить. Остатки тумана еще цеплялись за крыши и улицы, но тепло нового дня постепенно вытесняло их. Я ощущал, как спокойствие утра наполняло меня, становясь частью ритма. Ламара молча шла рядом, кутаясь в свой теплый шарф, ее дыхание таяло в морозном воздухе, поднимаясь к небу еле заметными облачками. Дорога вела нас к вершине, где простирался монастырь Джвари. Под первыми лучами солнца, касающимися его древних стен, он, словно принимая Божье благословение, озарял окрестности своей святостью.

— Именно на этом холме, — сказала Ламара, когда мы поднялись к монастырю, — росло то самое мироточивое дерево, из которого вырезали три креста святой Нино. — Один из них установили на этом месте, где раньше стоял языческий идол, ознаменовав зарождение христианской веры в Грузии. Сам монастырь был построен позже, в конце VI — начале VII века. Джвари — один из старейших христианских храмов страны, возведенный в уникальном тетраконховом стиле.

Пока съемочная группа снимала панораму и храм, Ламара направилась ко входу. Я последовал за ней. В то раннее морозное утро в храме почти никого не было. Мы пересекли зал и подошли к алтарю. С каждым шагом тишина вокруг нас становилась гуще, а стук сердца — громче. Лишь тонкие лучи, проникающие через высокие узкие окна, мягко падали на алтарь, освещая его благостным сиянием.

— Ты это слышишь? — прошептала она, не оборачиваясь.

— Что — это? — недоуменно спросил я.

Тогда она повернулась ко мне и сказала:

— Прислушайся… — Ее рука плавно скользнула по моему лицу, и пальцы осторожно прикрыли веки. Я почувствовал это нежное, почти невесомое прикосновение. А после тишина обволокла меня, и я ощутил нелинейность времени. Оно перестало быть чем-то привычным и измеримым, оно исчезло, уступив место чему-то большему. Храм, с его многовековой историей, будто безмолвно беседовал с нами через стены, пропитанные молитвами, через тени, отбрасываемые от мерцающих свечей, через дыхание веков, застывшее в холоде камня. Ощущение было настолько сильным, что, казалось, мое сердце замедлило свой ход, чтобы лучше слышать этот беззвучный диалог.

Я почувствовал внутри некую легкость, и в то же время все вокруг обрело значимость. В пространстве монастыря действительно было нечто особенное — то, что невозможно выразить словами, но оно проникало глубоко в душу.

Мы с Ламарой стояли рядом, и я откуда-то знал, что она чувствует то же самое, что молчание между нами не было пустым. В нем было что-то родное, близкое, — когда в тишине ты находишь то, что тщетно искал бы в тысячах разговоров.

Затем я медленно открыл глаза... Внешне ничего не изменилось: те же каменные стены, те же робкие лучи солнца, тот же приглушенный свет лампад.

Я вгляделся в Ламару. Каждый ее вдох был ровным и спокойным. Через мгновение ее веки дрогнули, словно потревоженные тенью, пробежавшей по ровной глади воды, и медленно, будто откликаясь на незримый зов, она открыла глаза. Тогда я осознал: все изменилось внутри. Между нами возникло нечто неуловимое, мы оба это знали, хоть и не говорили об этом.

***

Когда мы вышли из Джвари, Ламара остановилась на холме и, устремив взгляд туда, где две реки сходятся у подножия древнего города, произнесла:

— Там, где сливаются Арагви и Кура, видно, как встречаются два разных потока.

Арагви — стремительная, прозрачная, рожденная в горах, несет ледяную воду с высот Кавказа. А Кура — темная, теплая, уже проделавшая долгий путь, впитавшая в себя десятки притоков. Они сливаются здесь, в Мцхете, но не сразу смешивают свои воды — еще какое-то время текут рядом, прежде чем стать единым потоком.

Взглянув на меня, она добавила:

— Жизнь подобна реке: кто-то приходит к нам быстрым ручейком, кто-то — бурным потоком. И именно такие встречи необходимы. Они не случаются просто так. Иногда они сдвигают нас с прежнего места, подобно тому, как перекатываются камни по дну. Но именно тогда мы растем. Мы учимся — прощать, принимать, чувствовать глубже. Люди — как зеркала, в которых проступает наш лик. Без них мы бы так и не поняли, кто мы есть на самом деле.

— Но иногда река выходит из берегов. — Тихо произнес я, сам не ожидая, что скажу это вслух.

Она кивнула, не отрывая взгляда от слияния вод.

— Да, бывает и так. Порой поток становится слишком сильным, захлестывает, сметает все на своем пути. Такая встреча может увести в никуда.

— И что тогда?

Ламара ненадолго задумалась.

— Тогда остается одно — найти свое русло. Пусть не сразу, пусть не там, где мы думали, но река всегда находит путь. Как и человек.

Я хотел что-то сказать, но слова показались лишними. Мы стояли молча, глядя на потоки двух рек, каждый погруженный в свои мысли, но, возможно, думая об одном и том же.

Глава 8. Светицховели

— *Све-ти-цхо-ве-ли*, — сказала Ламара, растягивая слоги, как будто пробуя их на вкус. — В этом слове есть музыка, слышишь? Оно льется как вино, медленно стекающее из *квеври*[9].

***

Величественный собор Светицховели возвышался перед нами, озаренный лучами полуденного света.

— Мы приблизились к душе Грузии, — произнесла она, войдя в храм. Воздух внутри был пропитан ладаном и прохладой камня. — Грузию неспроста называют вторым Иерусалимом. Причины этого — в ее духовном значении для православных христиан и множестве святынь, которые хранятся на нашей земле. Светицховели, построенный в начале XI века, хранит в себе реликвии Нового и Старого Завета: плащаница пророка Илии и Хитон Господень, который является главной святыней нашей страны.

Не издавая звука, я шевельнул губами:

— *Хитон Господень…*

— После того как Иисус Христос был распят, — сказав это, она перекрестилась, — Его одежду поделили между собой солдаты. Бесшовный хитон же было решено не разрывать, и его разыграли по жребию. По преданию, он оказался у одного из воинов, а позже был передан Элиозу, еврейскому раввину из Грузии, который в это время находился в Иерусалиме. Пораженный увиденным, он привез реликвию в Мцхету, где жила его сестра по имени Сидония. Когда же Элиоз прибыл к ней и передал хитон, она, прикоснувшись к святыне, была настолько потрясена, что ее сердце остановилось от божественного трепета. Так Сидония была захоронена с хитоном, поскольку его не смогли высвободить из ее объятий. С тех пор святыня хранилась в земле, считаясь символом глубочайшего благочестия. Позднее на этом месте был построен собор Светицховели, где находится могила Сидонии, а вместе с ней и хитон.

Я стоял молча, пытаясь осмыслить все услышанное. Съемочная группа в это время бесшумно перемещалась по храму, снимая древние фрески. Ламара же внимательно наблюдала за мной, ожидая реакции.

— Хитон здесь, в Мцхете... Это невероятно… Прости, я не могу осознать всю значимость того, что ты только что рассказала…

— Не все постигается мгновенно. Когда ты прикоснешься к этой истории душой, ты поймешь, что не нужно искать логических объяснений. Наши сердца давно уже знают то, что разум не всегда может постичь. Такие откровения требуют времени, и для каждого оно свое.

— Но как... как это вообще можно почувствовать? — спросил я, ощущая поднимающуюся волну смятения и трепета внутри. — Это... слишком...

— Ты уже чувствуешь, — ответила она, касаясь ладонью моего сердца. — Иногда то, что кажется недоступным для понимания, нужно просто принять как данность. Ты здесь, и ты часть этой истории, даже если пока не осознаешь этого. Но придет время, и все станет ясно, если только удержишь ум в сердце, — с уверенностью произнесла она, мягко постукивая подушечками пальцев по моей груди.

Затем Ламара осторожно поправила платок на своей голове и добавила:

— Нам пора. Нас ждет *мама*[10] Габриэли[11]. Это здесь, во Мцхете.

— Кто это?

Она взглянула на меня с присущей ей мягкой улыбкой и начала свой рассказ, направляясь в сторону монастыря Самтавро.

Глава 9. Самтавро

— Для преподобного старца каждый был любимым чадом Божиим, и всякий, кто обращался к нему, получал утешение, как от родного человека. К нему приходили не только верующие, но и те, кто давно потерял путь. Он был тем, кому доверяли самое сокровенное, тем, кто смотрел в самую суть человека, не осуждая, но любя.

Ламара взглянула на гробницу святого и произнесла:

— Отец Гавриил был не просто святым, а юродивым, скрывавшим истину под видом безумия… — Она приложилась к иконе. — Обращаясь к каждому, кто искал утешения, он говорил: *«Я буду молиться за всех вас, и если что-то случится, приходите ко мне в Самтавро — я всегда буду здесь и помогу вам».* Люди продолжают приезжать к его мощам, веря, что он все так же молится за них.

В те годы, когда религиозные убеждения преследовались, отец Гавриил осмелился открыто выразить свое несогласие. В один из дней в центре Тбилиси, во время празднования годовщины Октябрьской революции, он взял огромный портрет Ленина, установленный на здании, и сжег его перед многолюдной толпой, осенив себя крестом. Этот акт, яркий и бесстрашный, был для него символом протеста против идеологии, лишенной духовности и человечности. После его сразу арестовали и жестоко избили. Обвинители требовали смертной казни, однако вместо этого власти приговорили его к принудительному лечению в психиатрической больнице. Говорят, за него заступилась сама Богородица — явившись одному из служителей власти с повелением сохранить жизнь отцу Гавриилу.

— Ты сказала юродивый... Что это значит? — спросил я, пытаясь понять, что делает человека святым.

— Юродство — это высшая степень святости. Юродивые Христа ради — это особые подвижники, которые осознанно отвергают все, что большинство считает основой и нормой жизни, для того, чтобы освободиться от привязанности к миру и стяжать Божественную благодать. Они порой ведут себя так, что могут показаться сумасшедшими или странными в глазах других, но на самом деле — принимают насмешки, пренебрежение и даже ненависть, чтобы жить в полном смирении. И отец Гавриил Ургебадзе был одним из них. Мы зовем его *мама* Габриэли.

— Откуда ты все это знаешь? — с удивлением спросил я ее.

— Меня вырастила *бэбо*[12]. Она была набожным человеком.

Ламара притихла, будто в ее памяти всплыло что-то, а затем продолжила:

— Как и у всех, у нее были свои слабости. Одна из них — пристрастие к нарядам. *Бэбо* была портнихой и очень любила красивые вещи. Она всегда стремилась появляться в новом сшитом ею платье, меняя их с удивительной легкостью. А когда проходила мимо затемненных витрин, на мгновение останавливалась, чтобы полюбоваться, как изящно смотрится ее наряд.

— Разве не все женщины так делают? — заметил я с иронией, глядя на ребят из съемочной группы в ожидании кивков.

Но они лишь заулыбались, не решаясь согласиться вслух.

Ламара приподняла бровь и бросила на меня острый взгляд.

— Эм-м… ну, видимо, не все, — быстро добавил я.

— *Бэбо* рассказывала, как она сшила платье глубокого синего цвета. Ткань была матовой, плотной, так что подол ложился ровными мягкими складками и слегка

покачивался при каждом ее шаге. Оно мягко прилегало к талии и плавно струилось вниз, доходя до самых щиколоток, а едва заметная вышивка по кромке в тон ткани добавляла ему особого изящества. Стоило ей повернуться или сделать движение рукой, как материал начинал играть на свету разными оттенками. Каждый стежок и каждая деталь этого платья говорили о хорошем вкусе и умении создать вещь, которая притягивает взгляды.

Однажды она надела его на Рождество, чтобы пойти на причастие. *Бэбо* говорила, что ей хотелось *нарядиться для Христа*. — Ламара улыбнулась. — Но когда она пришла на исповедь, священник посоветовал ей выбирать более простую одежду для храма, потому что ее наряды слишком выделялись среди скромных одеяний церковной толпы и невольно приковывали взгляды, отвлекая прихожан от молитвы.

— Неужели из-за этого он не допустил ее к причастию?

— Допустил, но при этом он предостерег ее от искушения, скрытом в таком, на первый взгляд, невинном желании принарядиться.

— Опасность в чем, чтобы быть привлекательной? — переспросил я, не веря своим ушам. Все это казалось мне откровенной нелепостью.

— Он объяснил, что такие желания могут подпитывать самолюбование и гордыню, прививая душевную зависимость от внешнего облика. Поначалу это может казаться естественной радостью от собственной красоты, но со временем она превращается в крепкий корень, от которого растут тщеславие, потребность в похвале и сосредоточенность на внешнем. Все это отвлекает душу христианина от смирения и делает ее более уязвимой к искушениям.

— Понял. В таком случае это имеет смысл, — произнес я, стараясь выглядеть серьезно.

Ламара на секунду прищурилась, ловя в моих словах скрытый подтекст.

— *Бэбо* поведала, что после принятия святых даров в великом таинстве причащения она вышла из храма с ощущением, как она говорила, *недостойного причастия.*

— А это еще что значит?

— Хоть священник и благословил ее на причастие, она чувствовала, что не заслужила этих даров.

— И что потом?

— Она выходила из храма с молитвой к Господу, прося, чтобы Он смыл с нее это *липкое чувство самодовольства*, которое она испытала от прикованных к ней взглядов, и осознания собственной красоты.

— Ух ты!

— Ух ты?

— Я не встречал еще ни одной женщины, которая бы молилась о том, чтобы не заглядывать в витрины! — произнес я, не в силах сдерживать смеха.

— Это мешало ей быть по-настоящему смиренной перед Богом. Она говорила, что любая страсть начинается с малого…

— Получается, даже мимо зеркала пройти — это духовное испытание, — поддразнил я ее. — Ламара пристально взглянула на меня, и я сразу понял, что моя шутка была неуместной. — Ладно, прости… продолжай, пожалуйста, — сказал я уже серьезнее. — Мне правда интересно.

— После службы *бэбо* отправилась домой. Но вскоре ее настиг проливной дождь. Дорога шла вдоль обочины, и каждый проезжающий автомобиль, проносясь по грязным лужам, поднимал брызги, которые могли окатить ее с ног до головы.

Ламара замолчала, словно раздумывая, стоит ли и дальше делиться сокровенным.

Я приподнял брови, призывая ее продолжать.

С едва заметным вздохом она все же уступила:

— *Бэбо* не отошла на другой край дороги, как это сделали те, кто шел рядом…

Я снова приподнял брови и слегка кивнул, побуждая ее объяснить причину такого поступка.

— Она рассказывала, как в тот момент, когда машина окатила ее грязной водой из лужи, в ее памяти всплыл образ святого отца Гавриила. Как он шел по городу в своей медной диадеме, которую надевал, притворяясь сумасшедшим, и люди, не понимая его поступка, смеялись над ним. Но Гавриил смирял себя, принимая их насмешки с кротостью, это было его добровольное послушание перед Господом.

— Но как это связано с твоей бабушкой? — спросил я, все еще не улавливая связи.

— Образ преподобного напомнил ей о том, что истинное смирение — это способность видеть себя такими, какие мы есть, без приукрашиваний, и быть готовыми отказаться от лишнего, чтобы наполнить свою душу подлинной духовной красотой. — Через мгновение она добавила: — А также готовность нести свою веру, даже если мир смотрит на тебя с непониманием.

Тогда в ее взгляде я прочел нечто личное, словно она говорила о себе.

— Похоже твоя *бэбо* обладала поистине христианским духом. Но в наше время такой подвиг кажется чем-то почти невозможным. Не уверен, что сегодня можно встретить подобное смирение.

— Можно, если начать с себя, — ответила она спокойно, и я встретил ее взгляд. Затем она сказала то, что пробудило во мне противоречивые чувства.

— Вспомни: когда ты стоишь с чемпионским поясом, трибуны гудят, люди аплодируют… В этот миг весь мир словно принадлежит тебе, ты смотришь на поверженного соперника и чувствуешь нечто большее, чем просто удовлетворение. Это триумф, искра гордости, которая легко перерастает в мысль: «*Я достиг вершины! Я — победитель!*» Было такое?

— Эм… ну, может быть, — ответил я уклончиво. — Но разве это не естественное чувство, которое приходит с победой? — добавил я уже увереннее. — В чем смысл, если не испытывать гордость за то, чего ты добился, после всех усилий и тренировок? Ведь ради этого и бьешься, побеждая одного соперника за другим.

— Смысл не в том, чтобы доказать что-то миру или даже самому себе, а в том, чтобы помнить: все наши таланты, сила и все, что мы привыкли считать своим, — лишь дары, которые даны нам свыше для чего-то большего, чем просто личный успех.

— То есть?

— Я говорю о том, что наше истинное достижение — это не только наши победы, но и то, что остается в нас после них.

Ламара говорила об убеждениях, которые покоились на столпах христианских истин. Но я все еще не был готов к таким глубоким размышлениям и поэтому просто кивнул в ответ, решив оставить это на потом.

***

— Когда наступило это *потом*, отец Лонгин?

— Уже в октагоне, Саба, но об этом я расскажу вам позже…

Глава 10. Сиони

— Святой Нино было дано откровение, — начала Ламара, когда мы стояли у креста в Сионском соборе. — Во сне ей явилась Матерь Божья и вручила крест, сплетенный из виноградной лозы, провозгласив: *«Прими этот крест — он будет щитом от видимых и невидимых врагов»*. Она также повелела ей идти в Иверию, чтобы обратить древнее грузинское царство в христианство. Проснувшись, Нино увидела крест у себя в руках. Тогда она срезала прядь своих волос и перевязала ею крест — в знак любви, веры и покорности воле Божией, закрепляя тем самым дар Богородицы.

От рассказов Ламары все внутри меня будто шло вразрез с привычной логикой, но странное дело — внутри что-то отзывалось, будто эти истории не просто мифы, а правда, которую душа узнавала раньше, чем разум успевал отвергнуть.

— Нино пришла сюда пешком из Каппадокии, в IV веке, — продолжала она. — И хоть она не была воином, не обладала ни армией, ни властью, чистота ее помыслов и искренняя вера сделали ее способной принять этот Божественный промысел. Царь Мириан и его люди поначалу отвергли ее слова, но Нино не сдалась. Однажды царица Нана заболела, святая Нино молилась за нее, и та исцелилась. Сам царь, который был ярым язычником, принял христианство после того, как его ослепило во время охоты, и только молитва святой вернула ему зрение. Так, через испытания и милость Божью, пришло просветление, и Грузия открыла свое сердце Христу.

Пока Ламара делилась старинным преданием, я смотрел на древний крест, осознавая, что никогда раньше не думал всерьез о вере как о живом пути, а не просто традиции.

— Этот храм, — продолжала она, — видел многое. Но больше всего он пострадал в XIII веке, когда в 1226 году в Тбилиси ворвался Джалал ад-Дин, хорезмшах. Он не просто хотел разрушить город — он стремился сломить веру нашего народа. — Она сделала шаг вперед, жестом показав на неровную каменную гладь. — В ту страшную весну Джалал ад-Дин приказал снять купол Сионского собора и на его месте установил трон — чтобы с высоты храма наблюдать, как исполняется его приказ. Он велел вынести из храма иконы Божией Матери и нашего Спасителя, положить их на мосту через Куру и потребовал от жителей пройти по ним, тем самым отрекаясь от Христа. Но никто не согласился. Тогда их обезглавили, сбросив тела в реку. Кровь текла по мосту, где лежали иконы. — Ламара замолчала на миг, после осенила себя крестным знамением и добавила: — С тех пор каждый год, 13 ноября, Грузинская Церковь чтит память ста тысяч мучеников Тбилиси. А крест святой Нино хранится в этом храме. — Она посмотрела на нас и, словно подводя черту, произнесла: — Он — свидетель силы духа, которую не смогли уничтожить ни захватчики, ни бедствия.

Она говорила с такой внутренней убежденностью, что это чувство передалось и мне.

— Должно быть, их вера была велика, раз они не отреклись от Христа даже под угрозой смерти, — сказал я, глядя на крест, словно считывая по нему эту истину.

— Сила, способная совершать великие подвиги, часто кроется в простых вещах, таких как верность, молитва, готовность следовать своему пути.

— А у меня есть такая сила? — спросил я Ламару, сам удивляясь внезапности этого вопроса.

— У каждого из нас она есть, Лео. Но не каждый готов ее принять. Иногда нам нужно пройти длинный путь, чтобы увидеть то, что всегда было сокрыто в душе.

В ее словах и взгляде было нечто, что пробуждало во мне глубину, о существовании

которой я и не подозревал. Это было похоже на легкое, почти болезненное сжатие в груди, как если бы во мне тронулся лед старых воспоминаний — о доме, о чем-то родном, утраченном и вдруг снова ожившем. Я чувствовал смутную благодарность за то, что могу стоять там и слушать ее — тревожную радость от того, что сердце снова откликается. И вместе с ней ощущать легкий страх. Страх перед тем, что эти чувства вытеснят все привычное и заставят меня взглянуть на самого себя по-новому.

— И что, по-твоему, мне нужно увидеть?

— Себя... Не таким, каким ты думаешь, что должен быть, а таким, какой ты есть на самом деле. Тебе нужно найти не ответы, а вопросы. Когда ты задаешь их себе, когда ты ищешь, ты уже идешь по правильному пути. Мы часто думаем, что все должно быть ясно с самого начала, но иногда это путешествие гораздо важнее, чем сама цель.

Я слушал, стараясь уловить не только ее слова, но и то, что стояло за ними.

Со взглядом, полным тихой решимости, она продолжала:

— Это борьба со своими страстями, сомнениями, страхами и всем тем, что отдаляет тебя от твоей истинной сущности. Это непросто. Но эта ежесекундная духовная брань и есть путь.

— Не знаю… Иногда ложь так похожа на истину: ты строишь на ней свою жизнь, не подозревая, что основание — зыбкий песок…

— Главное — это наши намерения, ибо по ним и будет судить Господь. Не за успехи или поражения, не за то, чего мы добились, а за то, что было в нашем сердце на пути, который мы выбрали, пусть и ошибочно. Все мы можем заблудиться в своих убеждениях, желаниях, амбициях, страхах, но когда наши намерения чисты, мы ощущаем мир внутри.

С ее словами пришло понимание: духовная борьба, о которой она твердила с самого начала, уже давно началась. Это была не та схватка, где один удар решает все. Битва разворачивалась внутри меня, скрытая за маской силы и признания. И в этой внутренней войне, в которой не было ни зрителей, ни судей, я проигрывал сам себе, ведь бой был не ради титула, а — за истину, от которой я все еще был далек.

— Но борьба еще не окончена, — добавила Ламара, видя мое смятение. — Каждый вдох — это шанс начать заново.

В тот момент я понял: я не проиграл. Я все еще мог начать сначала…

Глава 11. Шио-Мгвиме

Мы подошли к монастырю Шио-Мгвиме, укрывшемуся в скалах недалеко от Мцхеты. На его железных кованых воротах виднелись многочисленные гвозди. Они не были декоративными в привычном смысле — их простота и безыскусность отражали дух аскетизма, лежащий в основе жизни обители. По центру выступал болнисский крест, один из самых древних символов грузинской христианской веры, который напоминает о первых храмах, построенных в Грузии, о тех временах, когда христианство только укреплялось на этой земле.

***

— Здесь заканчивается шум мира, — произнесла Ламара, когда мы вошли за ворота.

Купер устанавливал камеру, а Нико проверял звук. Но вдруг их движения замедлились: руки задерживались на кнопках и проводах, словно в этот момент они больше думали не о съемке, а о том, что чувствовали сами.

— Согласно преданию, Богородица явилась Иоанну Зедазенскому и повелела ему привести в землю Иверскую двенадцать мужей, готовых нести веру, — начала Ламара. — Он был подвижником из Сирии, который стал духовным наставником для тех, кого позже назовут тринадцатью ассирийскими отцами — основателями грузинского монашества. Все тринадцать провели два года в молитве и посте на горе Зедазени, а затем разошлись по регионам, выбирая места, где особенно силен был языческий культ. Там они основывали монастыри, насаждали истинную веру вместо капищ и идолов. Этот был основан в VI веке святым Шио, единственным из ассирийских отцов, кто поначалу не имел ученика.

Мы медленно шли по узкой тропе, ведущей к центральному двору храма. Вокруг нас раскинулся небольшой сад, где росли оливковые деревья.

— Они напоминают мне о Гефсиманском саде, — сказала Ламара. — Христос молился среди таких же деревьев, зная, что вскоре будет распят. Он попросил учеников бодрствовать с Ним, но те засыпали. И тогда Он сказал: *«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение; дух бодр, плоть же немощна»*[13]. Говорят, оливы были посажены здесь монахами, чтобы напоминать о страданиях Христа и о том, как важно пребывать в неустанной молитве. — Ламара остановилась у одного дерева, провела ладонью по его шероховатой коре и, будто эти деревья могли ее услышать, добавила: *«Ибо никто не знает ни о дне, ни о часе…»*[14]

Я поднял глаза на ветви олив, покачивающихся в марте от легкого ветерка — все еще прохладном, но уже предвещающем тепло. Казалось, их узловатые изогнутые стволы хранили память о ночи, которая изменила мир. Сумерки окутывали монастырский двор, растворяя его очертания в мягком полумраке, который постепенно сгущался. В этом мгновении мне представилось, как апостолы, изнемогающие от усталости, прислоняются к таким же деревьям, пока их Учитель молится. Как Христос, преклонив колени, обращается к Отцу, в то время как оливы смыкают свои ветви над Ним.

— Представил? — спросила меня Ламара, словно прочитав мои мысли. В ее голосе чувствовался не столько вопрос, сколько желание понять, насколько глубоко я смог приблизиться к тому, о чем она думала сама.

— Да, — кратко ответил я, не в силах словами выразить то, что ощущал внутри.

Ламара слегка кивнула.

— Молитва — это диалог. Это момент, когда ты полностью открываешь свое сердце Богу. Христос показал нам это в Гефсиманском саду. Его молитва была исполнена скорби, но в то же время — покорности. Он сказал: *«Отче, если возможно, пусть чаша сия минует Меня; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»*[15].

Я слушал ее, глядя на деревья монастыря. Эти слова, которые я слышал раньше, зазвучали иначе, обрели целостность и непривычную глубину.

— Христос молился не о том, чтобы избежать страданий. Он молился о том, чтобы принять волю Отца, даже если это означало распятие. И я думаю, в этом заключается истинный смысл христианской молитвы. Мы можем просить о чем-то, открывать Богу свои желания, но в конце всегда должно быть это: «*Твоя воля да будет, а не моя*». Ведь только Господь знает, что на самом деле нам нужно, что принесет душе спасение. Мы же видим лишь часть пути, когда Ему открыт весь замысел, каждая наша ступень и ее значение. Важно с доверием принимать волю Божью, зная, что она пронизана бесконечной любовью к своему творению и неизменно ведет нас к истинному благу.

Я впервые задумался о своей жизни, о том, как редко действительно молился, передавая все в руки Бога, а не пытаясь выторговать у Него то, что мне хотелось.

— Молиться так... Это, наверное, самый сложный путь, — сказал я.

— «*Твоя воля да будет*» — это не отказ от надежды. А напротив — самая глубокая степень доверия. Это признание, что Бог дает нам не то, что мы хотим, а то, что нам действительно нужно. В этих словах мы оставляем свое эго, свою гордость. И именно тогда мы становимся на истинный путь.

Я смотрел на оливковые деревья, их ветви, склоненные к земле, и думал о том, сколько духовных сил нужно, чтобы так молиться. Но в этой молитве и была та свобода, которую нам может дать только истинная вера.

Ламара повернулась к тропе, ведущей дальше вдоль скал, и жестом пригласила нас следовать за ней. Казалось, каменные стены вырастали из них, становясь естественным продолжением монастыря.

— Вот здесь жил святой Шио, — указала она на одну из пещер. — Он провел большую часть своей жизни в молитве и посте. Говорят, он сорок дней ничего не ел, претерпевая искушения от бесов, которые пытались сломить его дух. Но после этих испытаний Господь даровал ему утешение: каждый день к нему прилетал голубь и приносил хлеб.

Просфора из клюва голубя — звучало как очередная легенда для меня, но глаза Ламары не оставляли места для сомнений. Она верила в это так, будто сама была тому свидетелем.

— Позже к нему пришел Евстафий Мцхетский, князь и полководец. Снял меч, надел монашеское одеяние и стал его учеником. И тогда вокруг Шио начали собираться и другие. Так родилась братия.

Я опустил взгляд, стараясь представить себе этого князя, что оставил все ради невидимого. *Что же он такого увидел в образе жизни Шио, что заставило его снять доспехи?*

Ламара снова вдохнула — глубоко, как будто ей нужно было заново обрести голос, чтобы сказать самое главное.

— А потом... Потом Шио сам ушел в подземелье. Вот туда. — Она указала рукой чуть в сторону от центрального храма, на углубление в скале, напоминающее колодец. — Внутри — тесное каменное пространство, куда почти не поступают воздух и свет… Он провел там пятнадцать лет. Пятнадцать лет непрерывной молитвы в одиночестве.

Мы с ребятами переглянулись. На лицах каждого читалась одна и та же немая растерянность: *как можно добровольно заточить себя в тесной, каменной темноте — и на столько лет?*

— Я знаю… Это трудно принять. Для многих одиночество — как наказание. Как что-то, от чего бегут. А для него… для него это было не бегство, а встреча…

— Встреча с кем? — спросил я, искренне не понимая, о чем она говорит.

Ламара посмотрела в сторону подземелья, затем — на меня.

— С Богом, — тихо ответила она. — С тем, ради кого стоит остаться один на один с самим собой. Только тогда и начинается настоящий разговор…

Глядя на ее спокойное, сосредоточенное лицо, я понял, что в этом месте каждый из нас ищет и находит что-то свое.

***

— А что нашли вы, отец Лонгин?

Монах посмотрел в сторону и задержал взгляд на тусклом свете лампады, словно видя в ее мерцании отражение своих мыслей.

— Тишину, — наконец произнес он, — тишину, которая не пугает, а освобождает.

Где бы мы ни были, рядом с Ламарой я всегда слышал эту тишину. Не пустую, не глухую, а живую, наполненную смыслом. Тишина, которая не вызывала желания ее нарушить — наоборот, в ней хотелось раствориться. Ламара знала, когда нужно говорить, а когда просто дать времени звучать. Она была доверием — той редкой легкостью, когда можно просто быть рядом, и этого достаточно. Иногда я ловил себя на том, что просто иду рядом, слушаю, как шуршат под ногами камни, как деревья шепчутся с ветром, как колокольный звон теряется в вечернем воздухе. И в эти моменты мне казалось, что я слышу больше, чем просто звуки — что-то внутри себя, что раньше тонуло в суете, в нескончаемом потоке мыслей и тревог. Мир становился яснее, а все ненужное просто исчезало.

Глава 12. Дзвели-Канда

Ламара настояла, чтобы мы отправились в село Дзвели-Канда.

— Там до сих пор звучит язык Христа, — сказала она. — И я хочу, чтобы вы это услышали.

Село оказалось скромным, укрытым между холмами, с простыми домами и виноградными лозами, тянущимися к свету. Там жили православные ассирийцы — потомки тех, кто еще в XIX веке пришел сюда, спасаясь от гонений. С тех пор они живут здесь, бережно храня свою веру, язык и традиции. Один из них, как рассказала Ламара, читал молитвы на арамейском — языке, на котором говорил Христос и который они сумели сохранить до наших дней в устной форме. Поскольку храма тогда не было, верующие собирались в домовой церкви — небольшой комнате в доме монаха, переоборудованной под храм. Там он служил, исповедовал и причащал своих земляков.

Мы приехали под конец службы, но никто не спешил уходить. Местные знали: завершив литургию и исповедовав прихожан, монах каждый раз исполнял покаянную молитву на арамейском. Это была его личная традиция — в память о корнях.

Мы вошли внутрь. Казалось, весь дом затаил дыхание в ожидании. И вот он запел… Молитва на арамейском текла, как боль, обнаженная и живая. Каждое слово, хоть и непонятное, прожигало мои сомнения, подобно капле крови. Я чувствовал, будто поднимаюсь на Голгофу. Мне слышался стук молота, которым вбивали гвозди в руки Христа, и плач тех, кто стоял у подножья Его креста.

Ламара стояла неподвижно, по ее щекам текли слезы. Это были слезы, которые нельзя сдерживать, те, что рождаются изнутри.

Когда голос монаха смолк, мы не могли пошевелиться — как после исповеди, которую услышали душой. Молчание стало осязаемым, я будто ощущал его тяжесть. Оно удерживало мое внутреннее равновесие. Съемочная группа тоже была непривычно безмолвна: даже Купер, обычно увлеченный обсуждением кадров, сидел в задумчивости, погруженный в свои мысли.

— Что теперь? — обратился я к Ламаре.

Она подняла на меня глаза. Слезы еще блестели на ее щеках, но взгляд был удивительно спокойным.

— Просто храни это в своем сердце как можно дольше. — В ее голосе слышалась едва уловимая грусть, как будто она знала, что время унесет этот момент, но он все же останется где-то в глубинах наших душ.

***

— У каждого есть свой крест, Саба, — произнес отец Лонгин, глядя на пламя свечи, мерцающее в полумраке кельи. — Он невидим, но ощутим. Мы несем на себе груз наших грехов, наших потерь, наших терзаний. И часто даже не осознаем, что это и есть путь к Голгофе. Мы боимся признаться себе, что этот крест необходим, ведь идти с ним трудно. Спотыкаемся, падаем. Иногда кажется, что больше не сможешь сделать и шага. Но этот момент не говорит о слабости — он говорит о сущности вещей. О том, какова наша натура.

Я молча смотрел на монаха. Перед глазами возникла дорога, по которой Христос нес свой крест — пыльная, каменистая, ведущая в гору.

— Нам хочется сбросить свой крест, оставить где-то на обочине жизни и идти налегке. Но знаете, что происходит, когда мы так поступаем? — Отец Лонгин заглянул мне в глаза.

— Мы теряем наш единственный шанс на спасение. Потому что именно в этой тяжести — смысл. Это путь, который ведет нас ко Христу через терпение, смирение и покаяние. Путь, который очищает нас, готовя ко встрече с Тем, кто его уже прошел. Прошел ради нас, чтобы искупить грехи всего человечества.

Но важно помнить, что дело не только в страдании, которое мы переживаем, и не в боли, которую несем, дабы оставить свои грехи. Христос был безгрешен, но взял на Себя все грехи мира во имя любви, которая превосходит человеческое понимание. Так и нам, из любви к Нему, следует претерпеть все скорби и, взяв свой крест, безропотно идти на Голгофу. Идти с осознанием, что Господь никогда не дает нам скорбей сверх наших сил и что каждая из них предназначена для нашего спасения.

Я молча внимал его словам и вдруг заметил, что слушаю его не как журналист, задающий вопросы, а как чадо, нуждающееся в спасении своей души.

— На Голгофе каждый из нас оставляет свое. Гнев, сомнения, гордость — все это уходит, чтобы освободить место для большего: для любви, веры, для прощения. И знаете, что будет после Голгофы? — спросил он, едва заметно улыбнувшись.

— Что? — вырвалось у меня.

— После Голгофы приходит воскресение. Но к нему ведет только этот путь. Ибо *«претерпевший же до конца спасен будет»*[16].

Глава 13. Утро

Возвращаясь вечером из Дзвели-Канды, мы попали в пробку на Площади Свободы, где проходил какой-то концерт. Из-за большого скопления людей дорога была заблокирована и проехать было невозможно. Нам пришлось оставить автобус на парковке и пробираться пешком через толпу до места, где бы мы могли взять такси.

Когда мы вышли из автобуса, я заметил, что Ламара выглядит напряженной.

— Все в порядке? — спросил я ее.

— Да, — коротко ответила она, роясь в своем рюкзаке.

— Что ты там ищешь так долго? Пойдем уже, Гловели! — Я взял ее за руку и потянул за собой. Она крепко сжала ладонь, выкрикивая мое имя, но из-за шума я не мог ее расслышать, поэтому ускорил шаг, чтобы поскорее выбраться из давки. Но вдруг Ламара вырвалась и замерла посреди площади, обхватив голову обеими руками. Я подошел ближе, и она внезапно прижалась ко мне. Ламара вся дрожала, а ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. В этот момент я понял, что ее объятие — это крик о помощи. Тогда я обнял ее за плечи, заслоняя от давки, и аккуратно вывел из толпы.

Когда мы наконец отдалились от площади, я попытался взглянуть на нее, но она продолжала судорожно цепляться за меня, словно боясь, что, разжав руки, снова окажется во власти паники. В этот момент я почувствовал, как ее страх и мое желание защитить ее слились воедино.

— Ламара? — обеспокоенно произнес я.

Она медленно разомкнула объятия и посмотрела на меня, в ее глазах еще читались следы страха.

— Я… у меня… охлофобия.

— Охло... что?

— Охлофобия — боязнь толпы или нахождения среди большого количества людей.

— Понял... Но все уже прошло... Дыши глубже и постарайся успокоиться. Ты что-то искала в своем рюкзаке, что там, лекарство?

Она достала из рюкзака четки.

— Как-то раз, во время очередной панической атаки, *бэбо* дала мне эти четки, чтобы я могла сосредоточиться на Иисусовой молитве и не отвлекаться на людей вокруг. Так, фокусируя внимание на четках и повторяя слова молитвы, я начала справляться с фобией.

— Поэтому все наши поездки начинались с раннего утра… — сказал я, осознавая то, что раньше от меня ускользало. — Ты избегаешь большого скопления людей… Прости, я не знал…

— Ты и не мог знать. Все прошло. Я в порядке.

Я посмотрел на нее — не с жалостью, а с восхищением. Столько хрупкости и силы таилось в одном человеке. В ней слились воедино редкие качества: уязвимость и храбрость, боль и свет. Именно в этот момент она стала для меня ближе, чем когда-либо прежде. И, может быть, впервые за все это время я увидел ее по-настоящему.

Я вызвал такси и поехал с Ламарой, чтобы убедиться, что она и вправду в порядке. Проводя ее до двери дома и пожелав крепких снов, я сел обратно в машину и отправился в номер своего отеля.

Той ночью я впервые почувствовал свое полное бессилие. На моем пути оказалась преграда, которую нельзя было преодолеть ловкостью рук. Страх Ламары был подобен призраку — невидимому и неосязаемому. Это не был физический противник, с которым

можно было бы сразиться, нет, он был зыбким, как туман, который ускользает при попытке схватить его.

Я увидел не ту Ламару, что ведет нас к храмам уверенным шагом и светом в голосе. А ту, что шагает в темноте, — одна, с тяжестью в груди и молитвой на четках вместо опоры. Эта мысль не отпускала меня, перекатывалась внутри, как камешек в ладони, — простая, но весомая.

Я уснул ближе к пяти утра. Уже через час меня разбудил стук в дверь. Я подумал, что кто-то просто-напросто ошибся, и, натянув одеяло на голову, попытался вновь погрузиться в сон. Но в дверь снова постучали, на этот раз гораздо настойчивее и громче. Я встал и заглянул в глазок — по другую сторону на меня смотрели хлопающие ресницы.

— Открывай, Кипиани! — раздался ее голос.

— Гловели? — удивленно пробормотал я себе под нос. — Это что, сон?

— Давай, Кипиани! У меня два кофе и свежие маффины!

— Ты сказала «маффины»?

— Да, я уговорила подругу открыть кофейню пораньше, и теперь должна ей, так что, пожалуйста, открой эту дверь, пока я не…

Я открыл дверь прежде, чем она успела договорить.

— Доброе утро, Гловели!

— Ну наконец-то! — Она вошла, словно торнадо, плюхнулась на диван и включила мультики по телевизору.

— Ну же, садись, — позвала она меня, похлопывая по дивану рядом с собой. Я протер глаза, чтобы убедиться, что мне это все не кажется, и опустился рядом. Затем она протянула мне кофе и маффин.

— Что мы делаем, Гловели? — спросил я, глядя на экран телевизора, где показывали «Тома и Джерри».

— А на что похоже? — отозвалась она, смакуя откушенный кусок шоколадного десерта. Я смотрел на нее и размышлял, как многогранна ее натура и сколько еще разных Гловели скрывается внутри Ламары…

— Не угадал! Это всего лишь знак благодарности за то, что вывел меня из той обезумевшей толпы!

— То есть это твой способ сказать спасибо, разбудив меня в шесть утра?

— Ага, — пробормотала она, пытаясь справиться с десертом.

— Ну что ж, не стоило так бе-спо-ко-ить-ся, — проговорил я, глядя, как она набивает щеки. Ламара уплетала маффин так быстро, как маленький ребенок поглощает сладости. Я наблюдал за этим и улыбался, видя ее радостные гримасы, которые наполняли комнату. Это простое зрелище принесло тепло в мое сердце и ощущение того, что мир стал немного лучше.

Мы шутили и смеялись, обсуждая забавные эпизоды из мультиков, а затем, когда она уснула на диване, я накрыл ее пледом и просто смотрел, как она спит.

В ее сне царил особый покой, словно ангел нашел свое убежище в этой тишине. Но вдруг она зажмурилась от солнечных лучей, щекочущих ей глаза. Тогда я встал перед ней, преграждая путь назойливому солнцу, и на ее лице снова появилась тень умиротворения.

***

Следующие несколько минут отец Лонгин молчал, а после сказал:

— Я не справился, Саба.

— С чем, отец?

— Я не смог защитить ее.

— От чего же?

— От самого себя…

Глава 14. Ананури

Она стоит на холме, гордо возвышаясь над озером, окруженным безмолвной синевой. Ее каменные стены кажутся незыблемыми, несмотря на следы времени и битв, оставивших свои метки.

— Крепость Ананури была возведена в XVI веке, и на протяжении столетий служила оборонительным щитом для могущественных князей Арагви, контролировавших этот стратегический участок Большого Кавказского хребта, — сообщила нам Ламара, ее голос, как всегда, звучал негромко, но твердо, когда она говорила о том, что вызывало у нее глубокое уважение. — Они контролировали важнейший путь через горы, соединявший Грузию с Северным Кавказом. Этот путь был ключом к власти и могуществу, а стены крепости — надежной защитой от врагов.

Мы шагнули за массивные ворота, и перед нами предстали высокие каменные стены, две старинные церкви с резными фасадами и суровые башни — все хранило следы долгих осад и эпох. Солнце мягко касалось туфовых блоков, словно подчеркивая древность этого места.

— Одна из церквей — Успенская, — начала Ламара, — построена в XVII веке во времена расцвета княжества Арагви. Ее фасады украшены изысканной резьбой: кресты, виноградные лозы и стилизованные орнаменты, характерные для грузинской церковной архитектуры того времени. Особенно эффектна южная стена с изображением дерева жизни, среди виноградной лозы и фантастических зверей. Рядом с деревом — два архангела…

Она подошла ближе и провела пальцем по высеченным фигурам:

— Слева от дерева стоит архангел Михаил — в сапогах и с мечом, — пояснила Ламара. — Он воин, который сопровождает человека на земле через битвы и сомнения. А справа — архангел Гавриил, босиком, без доспехов — он встречает душу на небесах, которую уже не разделяют страх и гордость.

Мы стояли плечом к плечу, вглядываясь в камень, как будто он мог заговорить.

— Они как стражи, — сказал Гога. — Один провожает, другой — встречает.

— Интересно, что сложнее? — прищурился Купер.

— Труднее всего — идти, — сказал я. — Потому что не знаешь, ведет ли путь туда, где тебя ждут босиком...

Купер шутливо ткнул меня локтем в бок:

— Гляди-ка, еще недавно мы вспоминали, как правильно креститься, а теперь о духовных путях рассуждаем. Ламара, ты и вправду чудеса творишь.

— Не я… Это земля творит. Я просто рядом стою, — шутливо подмигнула она.

Затем Ламара приподняла руку, указывая на другой храм.

— Это скромная старинная церковь Гвтаеба, датируемая XVI веком. Самая древняя часть комплекса. Выполненная из грубого камня, она хранит в себе аскетичный дух.

Мы прошли внутрь. Свет скользил по темным стенам, пробираясь сквозь узкие окна. Ламара остановилась у восточной стены и подняла глаза:

— Эта фреска — как открытая книга нашей совести, — тихо сказала Ламара. — На ней изображен Страшный суд. В центре — Христос, Судия, а под Ним — Богородица, молящаяся за души людей. Взгляните: с одной стороны — ангелы держат свитки добрых дел человека. Их меньше, но они выше. А с другой — демоны с искаженными лицами тянут

вниз длинные списки злых дел.

Ламара указала на детали фрески.

— Обратите внимание: у ангелов в лицах — спокойствие, а у демонов — напряжение, будто все их существо стремится перевесить чашу. Но истина в том, что вес добрых дел не в их количестве, а в подлинности. Одно чистое намерение может весить больше, чем тысячи дел, сделанных из страха или гордыни.

— Выходит, дело не в том, сколько ты сделал, — тихо произнес я, не отрывая взгляда от чаши весов. — А в том, что стоит за каждым поступком...

Я не знал, кто услышал мои слова, и говорил, скорее, для себя. Но где-то в глубине чувствовал — мне это нужно было сказать. Чтобы самому понять: все, что казалось важным, — титулы, победы, шум — в конечном счете ничего не весит, если за ним — пустота…

Глава 15. Гергети

На высоте более двух тысяч метров, среди холодных ветров и плывущих меж гор облаков, нас ждала церковь Святой Троицы в Гергети.

Машины там не проходили: колея исчезла под заносами, а ветер разметал следы. Мы вышли из автобуса у подножия горы и продолжили путь пешком — вверх, по скользкой узкой тропе, проложенной прямо по обледенелому горному склону. По мере того как мы поднимались, перед нами все яснее проступала гора Казбек во всей своей суровой красоте. Ее белоснежные вершины искрились в солнечном свете. На фоне этого грозного и прекрасного пика церковь Святой Троицы выглядела крошечной и вместе с тем несокрушимой. Могло показаться, что она была здесь всегда, вопреки ветрам и метелям, охраняемая горными хребтами.

Ламара шагала впереди, уводя нас вглубь истории этих краев. Мороз пощипывал ее щеки, а голос срывался на полуслове — не то от ветра, не то от напряжения дыхания. Но она продолжала говорить, будто не замечая холода:

— Церковь Святой Троицы построили в XIV веке, и место это было выбрано неслучайно. На такой высоте храм служил убежищем для святынь в тяжелые времена. — Она замолчала, потирая ладони друг о друга, тщетно пытаясь согреть их, но тут же вернулась к рассказу, упрямо не давая морозу себя одолеть: — Здесь, в условиях, которые не каждый сможет вынести, укрывали самые ценные реликвии Грузии. Сюда переносили кресты и иконы во время нашествий врагов, потому что те редко рисковали подниматься так высоко...

Облачка пара вместе вырывались изо рта и замерзали в воздухе, но она говорила с такой убежденностью, что каждый из нас — даже оператор, почти не выпускавший камеру из рук, — старался не пропустить ни единого слова.

Ламара остановилась на мгновение, чтобы плотнее закутаться в шарф, и, сделав глубокий вдох, снова продолжила:

— В 1930-х годах, когда церковь пытались сжечь — в рамках антирелигиозной кампании, — огонь бушевал почти три дня. Храм горел от крайних стен до купола, но икона Божией Матери уцелела. Говорят, рука Богородицы даже чуть покраснела, будто пропитавшись теплом пожара, но не сгорела. Паломники видят в этом чудо — как знак того, что Божия Матерь защитила храм от полного разрушения.

Стойкость Ламары восхищала — несмотря на леденящий ветер, она шла вперед. Но каждое слово, сказанное дрожащим голосом, вызывало у меня почти болезненное желание укутать ее в тепло, уберечь от этого беспощадного холода. Я понимал, что ей важнее всего довести нас до конца пути, рассказать все, что она знает, но мне хотелось прервать ее рассказ хоть на миг, предложить ей отдохнуть и согреться, чтобы вернуть в ее глаза огонек, который, казалось, затушил этот мороз. И потому, не обращая внимания на камеры, я шагнул к Ламаре и, прежде чем она успела что-то сказать, бережно взял ее замерзшие руки в свои. Ее пальцы были настолько холодными, что мне стало не по себе от одной мысли, как сильно она страдала. Не задумываясь, я поднес ее ладони ближе к губам и начал дуть на них, согревая своим дыханием.

Ламара взглянула на меня — в ее глазах читалось удивление, но она не шевельнулась. Мое дыхание на выдохе касалось ее кожи, и я чувствовал, как с каждым разом ее руки становятся чуть теплее.

— Почему ты не надела перчатки, Гловели? — возмущенно спросил я.

Она упрямо вздернула подбородок.

— А почему ты не надел, Кипиани?

— Потому что я не боюсь холода.

— И я не боюсь.

Я покачал головой, чувствуя, как меня охватывают одновременно раздражение и необъяснимая радость.

— Ты упрямая, Гловели. Бесстрашная, но упрямая!

— Кажется, забота обо мне стала твоей привилегией, — ответила она, улыбнувшись.

Я было хотел что-то добавить, но, словно по сигналу, мы оба обернулись — и обнаружили, что вся команда наблюдает за нами, не скрывая своего любопытства.

Ламара смутилась и попыталась высвободить руки, но я сжал ее пальцы чуть крепче, давая понять, что отпускать не собираюсь. Прищурившись, я обратился к ребятам:

— Вы не замерзли там?

Они молниеносно отвели от нас взгляды, сделав вид, что их больше интересуют облака, окружающая природа и собственная обувь.

— Может быть, хотите поскорее подняться в храм и согреться?

— Эм… да, было бы неплохо настроить аппаратуру заранее, — пробормотал Нико, увлекая за собой Гогу, который с явной неохотой отвел от нас с Ламарой глаза.

— И свет... — добавил Тамаз, следуя за остальными вверх по склону.

— Ну что ж, раз уж мне выпала такая честь греть твои руки, позволь обнять тебя, чтобы и самому согреться, — сказал я, заглянув в ее глаза. — Иначе потом ребятам придется откалывать нас от снега и тащить в церковь, как ледяные статуи.

Ламара смущенно кивнула и немного смягчилась.

Я взял ее холодные руки и, не говоря больше ни слова, завел под свой свитер, чтобы согреть. Когда ее замерзшие пальцы коснулись моей кожи, она вздрогнула. Я притянул Ламару ближе, обнимая, словно пытаясь укрыть от всего мира и окутать заботой.

Она прижалась ко мне, ее ладони доверчиво лежали на моей груди, постепенно согреваясь. Дыхание Ламары смешивалось с моим, и я еще крепче обнял ее, позволяя почувствовать, что здесь, в моих объятиях, ей нечего бояться и что это тепло — для нее.

Затем я уткнулся в ее макушку. Волосы Ламары пахли ветром, впитавшим солнце, и сухими травами, быть может, ладаном, а может, просто домом — едва уловимый, но родной запах. Все вокруг исчезло — был только этот миг, ее хрупкие ладони и моя решимость держать ее в своих объятиях, пока она в этом нуждается…

Спустя некоторое время мы продолжили подъем. Под ногами похрустывали камни, а ветер то затихал, то вновь поднимался, скользя по склонам.

На вершине нас встретила безмолвная ширь — мы вышли за пределы земного. Заснеженные склоны Казбека уходили ввысь, теряясь в белом молоке облаков. Горы словно парили, оторвавшись от земли. Под нами, далеко внизу, расстилалась долина, чьи деревья казались лишь крохотными точками, а тропа, по которой мы поднимались, — сном. Все вокруг дышало безмолвием, величием и какой-то странной, почти ощутимой близостью к вечности.

Там, рядом с Ламарой, я ощущал, что находился на краю мира, и все, что когда-то тяготило мне душу, осталось далеко позади... Но все же внутри жило одно неотступное чувство: мне, как всегда, хотелось понять ее замысел: каждое место, куда мы приходили, хранило в себе нечто большее, чем просто пейзаж или история. За каждым поворотом скрывался иной смысл. Это были не просто маршруты — это были ее ориентиры, внутренние вехи. И мне хотелось узнать: *что означала эта гора для Ламары? Почему она привела нас именно сюда?*

Когда я спросил ее об этом, Ламара посмотрела вдаль и ответила:

— Это был один из тех редких дней, что я помню с отцом… Он посадил меня на плечи и понес вверх по этой тропе. Я была совсем маленькой, и мне казалось, что мы идем прямо в небо. Я помню, как ветер путался в моих волосах, как облака казались бесконечно высокими, и то, как он сказал:

«Ламара, наша вера — это наш щит, наш дом. Как эти горы. Никогда не забывай, откуда ты родом. И всегда помни: наша сила — в преданном сердце. Преданном Богу, своей земле и тем, кого мы любим».

Ветер играл с ее волосами, и одна прядь легла на щеку. Я медленно поднял руку, будто спрашивая молчаливого согласия, и осторожно убрал локон. Ее щеки вспыхнули нежным румянцем — то ли от холодного горного воздуха, то ли от моего взгляда, в котором чувствовалось предвкушение поцелуя. Моя ладонь невольно задержалась у ее лица.

— *Преданность*… — повторил я. — Мне нравится.

Я склонился и несмело коснулся ее губ — словно это был мой первый поцелуй… Как обещание, произнесенное без слов…

***

— Обещание? — переспросил я отца Лонгина.

— Да… В том поцелуе было все: вера, любовь и преданность. И мне больше нечего было сказать ни одной женщине.

Глава 16. Риони

Мы со съемочной группой решили разнообразить нашу серию фильмов о Грузии нетронутой природой и поэтому отправились в Рачу, на рафтинг по реке Риони, одной из самых быстрых рек в стране. Как только мы вскочили в наши лодки и отплыли, река, как дикий зверь, ощерилась своей мощью и буйством.

Риони стала для нас настоящим испытанием: весла с силой врезались в воду, а рев порогов напоминал глухой вой хищника, затаившегося в засаде. Мы и сами походили на стаю волков, принявших вызов стихии. Нас было шестеро, и каждый жаждал выплеснуть свою энергию в этот бурлящий поток. Чувство адреналина буквально взрывалось в наших венах от ощущения опасности. Стремительные потоки грозились перевернуть наш рафт в любой момент и утянуть на глубину. Лодка то взмывала в воздух, то погружалась в водоворот, не давая нам ни секунды передышки. Стараясь удержать контроль, мы гребли изо всех сил, балансируя на грани падения в воду.

Риони превращала мой восторг в жестокую схватку, где я боролся с течением, как если бы это был мой последний бой. Временами, когда река все же становилась спокойнее, у меня была возможность немного перевести дыхание и взглянуть на окружающий пейзаж, но даже в эти моменты адреналин все еще бурлил во мне.

Купер, ухмыляясь, обернулся через плечо и громко выкрикнул:

— Эй, Гога, да эта река такая же вспыльчивая, как твоя подружка, — характер показывает!

— Пошел ты, Купер! — ответил Гога с такой же усмешкой, поднимая весло.

Мы поддевали друг друга, хохотали, пытаясь снять напряжение, но каждый из нас знал: с рекой лучше не шутить. В этой игре не было места слабости, и мы чувствовали это, когда сталкивались с очередным порогом. Мы знали цену ошибки и, несмотря на шутки, внутренне были готовы к неожиданному удару стихии.

***

— Значит, все обошлось? — спросил я отца Лонгина.

Он тихонько хмыкнул.

— Если учитывать тот факт, что мы остались живы, — то да. — Отец Лонгин показал старый шрам на плече. — У меня много следов от затянувшихся ран, но этот мне дорог, — произнес он, глядя на шрам, как на старого товарища. — Когда ветка хлестнула меня по плечу, я ощутил резкую, обжигающую боль, словно это был знак, призванный унять мой пыл и сказать: *остановись и подумай, насколько далеко ты готов зайти, прежде чем осознаешь свои пределы.* Но я был молод, полон огня и дерзости, и тогда многое не понимал. Например то, что Господь через эту рану указал мне на мою самонадеянность, которой я слишком увлекся. Ведь я думал, что могу покорить все — соперников, любые преграды и даже стихию. И хотя в тот момент нам удалось обуздать Риони, со временем я осознал — это был не просто удар ветки, а метка — напоминание, что даже в порыве страсти и азарта важно сохранять смирение перед Богом. А тот факт, что Он уберег меня от более тяжких ударов, свидетельствует, что и среди хаоса природы я остаюсь частью Его великого замысла.

***

Река оставила свой след в каждом из нас, но мы знали, что это неизбежно. Таков дух рафтинга: выйти из воды обновленными — с ощущением, что природа испытала тебя на прочность, преподнеся уроки, которые невозможно забыть.

Когда мы, мокрые и продрогшие, наконец выбрались на берег, Ламара уже поджидала нас — закутавшись в плед, с чашкой горячего чая в руках и тем самым выражением лица, которое бывает у людей, заранее знавших, чем все закончится.

— Ну что, покорители стихии, как впечатления? — спросила она, протягивая нам полотенца.

— Освежающе, — отозвался я, снимая шлем, из которого тут же вылилась вода.

Рядом Нико осторожно разворачивал микрофон, как будто это был младенец, переживший бурю.

Купер тем временем пытался отжать футболку. Это выглядело так, будто он не просто сушил одежду, а подводил итоги дня.

Гога аккуратно разбирал камеру, проверяя, можно ли вдохнуть в нее жизнь или пора смириться с неизбежным.

А Тамаз спокойно сматывал провода, как будто этот день ничем не отличался от других.

Ламара, наблюдая за нашими манипуляциями, разливала по кружкам чай из термоса.

— Думаю, самое время сказать *я же говорила*, — сказала она, передавая нам еще слегка дымящийся напиток. — Но раз уж вы такие упрямые, я решила, что кто-то должен встретить вас на берегу с горячим чаем.

— Хорошо придумала, — заметил я, принимая из ее рук чашку.

— Кипиани, скажи, твое безумство — это что-то врожденное или все же приобретенное?

Несмотря на то, как дерзко она всегда со мной держалась, в Ламаре оставалась какая-то непринужденная обаятельность. Даже ее самые колкие фразы звучали очаровательно.

— Гловели… — мягко произнес я, ощущая, как теплый огонек в ее глазах разгоняет остатки моей усталости.

Мы не прятали и не озвучивали то мгновение в Гергети, — просто держали его в сердце. Оно жило в изгибах наших улыбок, в едва заметных задержках взгляда, в паузах, наполненных смыслом. И тогда казалось, этого хватает, чтобы оставаться рядом.

— Ну и как тебе рафтинг, чемпион?

— Риони сурова, неукротима, моментами опасна и непредсказуема, но от ее красоты захватывает дух, — ответил я, не отрывая взгляда от Ламары. — Она впечатляет, оставляя след, который трудно стереть.

На щеках Ламары проступил робкий румянец.

Я сделал паузу и, чуть наклонившись к ней, шепотом добавил:

— *Гловели*… Эта фамилия родом из Рачи. Река Риони берет свое начало именно там. И это не просто совпадение. Ты — как ее продолжение. Та же сила, та же глубина…

Ламара удивленно взглянула на меня:

— Откуда ты это знаешь?

Я чуть лукаво пожал плечами.

Румянец на ее щеках стал ярче, она явно смутилась. Но сумела справиться с эмоциями, бросив взгляд на мое плечо.

— Что заставило тебя отправиться на рафтинг сразу после дождя?

— Ты.

— Я?

— Да. Ты заставляешь меня искать что-то большее, испытывать себя. Это не риск ради

риска. Это... как будто ты во мне зажигаешь что-то, что требует выхода.

— Если ты хотел вызвать во мне чувство вины, то у тебя не вышло, — быстро произнесла она, раскусив мою шутку.

— Ну вот, Гловели, ты все испортила, — спокойно сказал я, подначивая ее.

— Испортила? — Она приподняла бровь. — Думаешь, я должна была растрогаться от твоих слов, Кипиани?

— Ну-у, просто ты не каждый день заставляешь меня прыгать в бурные реки, — сказал я, продолжая подтрунивать над ней.

— Больше ни слова! — усмехнулась она, слегка ударив меня по плечу.

— Ох, это же рана! — притворно вскрикнул я, изображая боль. — Ой, прости, прости! Это другое плечо, — фыркнул я, стараясь не рассмеяться.

— Кипиани! — крикнула она, сжав кулак, будто собиралась снова ударить меня.

— Хорошо! Хорошо! Сдаюсь! — Я поднял руки в знак капитуляции. — Иначе в этот раз ты точно угодишь куда надо… А так как третьего плеча у меня нет… Все, молчу! — произнес я, приподнимая руки еще выше.

Она рассмеялась, как если бы кто-то ее щекотал, и этот смех был настолько искренним, что я тоже не смог удержаться. Ребята подхватили смех, который, как круги на воде, начал расходиться среди нас. Мы смеялись так, будто мокрая одежда, холодный ветер и промокшие носки были лучшим, что случилось с нами в тот день…

***

Лицо отца Лонгина неожиданно омрачилось. Вместо веселого огонька в глазах читалась тоска. Он замолчал, опустив взгляд. Думаю, слова не имели силы выразить то, что разрывало его сердце.

— Что с вами, отец Лонгин?

— Тоска, Саба… Ее смех мог стереть всю тяжесть, которая тянула мою душу вниз. Для меня он был как тихий звон колоколов — чистый и благодатный. Но смех давно сменился тишиной. И эта тишина стала моим испытанием с того самого дня, как я прибыл сюда…

Глава 17. Гелати

— В идите эти стены? — обратилась к нам Ламара, когда мы подъехали к монастырю Гелати, расположенному недалеко от Кутаиси. — Это наследие ЮНЕСКО.

— ЮНЕСКО? — переспросил я.

— Да, как и Джвари… Светицховели… Самтавро? — ответила она с вопросительной интонацией, делая акцент на каждом названии, проверяя, действительно ли я не знал этого. Заметив мое замешательство, Ламара продолжила: — Монастырский комплекс Гелати внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1994 году. Это место — духовное и культурное сокровище. Царь Давид IV Строитель основал монастырь в 1106 году, задумав как символ силы и процветания Грузии. Он считался крупным культурным центром, здесь учили богословию, философии, астрономии и медицине. Поэтому Гелатский монастырь даже называли «Вторыми Афинами».

— «Вторые Афины»? Впечатляет.

— Более чем, — подметила Ламара, ведя нас ко входу в обитель. — Сам царь Давид не дожил до окончания строительства, но его последняя воля была связана с этим местом. Он завещал быть похороненным здесь, в святой обители, под аркой южного входа. Его просьба

была столь же скромной, сколь и символичной: положить надгробную плиту так, чтобы на нее ступал каждый, входящий в храм. В этом проявлялось его смирение.

Съемочная группа шагнула внутрь, а я остался стоять, пытаясь вместить в себя смысл слов Ламары. *Смирение…* Это понятие казалось огромным, необъятным — и совершенно чуждым мне. Для меня смирение всегда было чем-то сродни поражению. И, возможно, именно поэтому оно вызывало во мне почти физическое сопротивление.

— Он называл себя *прашинкой земной*, — произнесла Ламара, заметив мое смятение. — Это был его способ напомнить себе, что он всего лишь человек перед Богом. Царь Давид не искал величия, понимая, что вся слава и власть даны ему лишь на время.

Она остановилась у темной плиты и провела по ней рукой, будто напитываясь ее силой.

Я склонился, чтобы разглядеть надпись, вырезанную на камне: «*Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих*».

— Несмотря на свои многочисленные победы и достижения, Давид Строитель никогда не ставил себя выше своего народа или своей веры. Представь себе, величайший царь Грузии, который объединил страну, одержал десятки побед, сделал ее процветающей и сильной, называл себя не владыкой, не избранником судьбы, а всего лишь прашинкой! Частицей земли, по которой ходят люди.

— Потому что он знал, что истинное величие — не в каменных статуях, а в сердцах людей, которые идут дальше сквозь года, неся с собой эту память.

— Именно. Поэтому каждый раз, когда кто-то проходит по этому камню, — добавила Ламара, — он становится частью его истории. И, возможно, тем самым исполняет его последнюю волю.

Мне казалось, что я мыслю слишком рационально, чтобы все это понять. Но в глубине души я вдруг почувствовал, что однажды мне придется столкнуться с этим лицом к лицу. И наверняка это будет самой трудной битвой в моей жизни.

Мы с Ламарой вошли в храм Успения Богородицы. Лик Царицы небесной был одновременно строгим и ласковым.

— Эти древние росписи — редкий пример византийской школы, — заметила Ламара, указывая на изображение. — Они сохранились почти в первозданном виде. Но недавно монастырь попал в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой…

— Но почему?

— Время и неудачная реставрация. Некоторые фрески пострадали. И хотя ЮНЕСКО пытается спасти убранство собора, многое требует серьезного восстановления.

Внутри что-то болезненно сжалось. Я обвел взглядом стены и замолчал.

Гелати раскрывался постепенно, рассказывая свою историю в потертом орнаменте и золоте потемневших фресок. Историю побед и упадка, в который пришла обитель после столетий, наполненных голосами ученых, монахов и правителей. Все говорило о времени, которое оставляет следы, — и о людях, чье призвание — сохранять память о вечном.

Ламара обернулась ко мне — ее глаза не спрашивали и не ждали ответа. В них читалось едва уловимое приглашение: не торопиться, не говорить… просто быть. Здесь и сейчас. Как призыв к тому, чтобы не пройти мимо, запомнить этот миг. И я кивнул — без слов. Потому что понял: есть мгновения, которые нельзя объяснить, их можно только разделить.

Глава 18. Вардзия

До того дня я считал, что на земле есть только одно место, способное пробудить во мне по-настоящему сильные чувства — Колизей в Риме. Величественное строение, воплощение силы и истории, где решалась судьба многих. Будучи подростком, я представлял себя на месте древних гладиаторов: ощущал жар арены, слышал рев трибун и звон мечей. Колизей казался мне местом, где закаляется дух, и я всегда возвращался к нему в мыслях как к символу воли и несломленного сердца. Но Вардзия…

***

Наш путь в Вардзию был полон тихих размышлений. Мы с Ламарой и съемочной группой ехали по дороге, которая пролегала через невероятно живописную долину реки Мтквари. Темно-серая лента асфальта тянулась вдоль извивающейся реки. По обеим сторонам возвышались скалы, а сама дорога, будто пытаясь повторить естественные изгибы гор, петляла между ними. Каждый поворот открывал перед нами все новые виды: широкие бескрайние долины, ряды деревьев с вольным размахом ветвей, а за ними — массивные горные цепи, изрезанные глубокими ущельями, с которыми веками боролись дожди, ветер и солнце.

Постепенно, по мере нашего движения ландшафт менялся: горы становились все более крутыми и скалистыми, словно природа собиралась сжать нас в своих каменных объятиях. Дорога проходила порой настолько близко к краю отвесных скал, что казалось, еще секунда — и мы сорвемся в обрыв. Серые голые скалы уходили вверх, скрывая небо и погружая нас в тень, но когда мы выезжали из ущелья, нас ослепляло солнце, отражаясь от влажных камней реки.

Под нами, далеко внизу, ледяная река Мтквари стремительно несла свои воды, грохоча через пороги. Иногда мы мельком видели ее — то исчезающую за поворотом, то появляющуюся вновь, она сверкала прозрачными брызгами. Природа говорила с нами на своем языке — языке силы и неизменности, а гул реки был ее голосом, напоминающим о том, что здесь, среди древних гор, человек лишь гость, а истинным хозяином остается стихия.

Мы стояли на одной из смотровых площадок Вардзии, и я не мог оторвать глаз от пещер, высеченных прямо в скале.

Ламара молчала некоторое время, позволяя мне впитать атмосферу и величие этого места. Ветер, который до этого гудел между скалами, вдруг стих, и в этой тишине ее голос прозвучал особенно ясно:

— Все началось в XII веке, когда царь Георгий III основал Вардзию как крепость для защиты от врагов. Но ее настоящей душой стала дочь Георга III, царица Тамара.

— Расскажи об этом поподробнее, — попросил я Ламару.

— Согласно легенде, когда Вардзия только строилась, маленькая Тамара, будущая царица, играла со своим дядей здесь, среди пещер. Она так увлеклась игрой, что заблудилась среди каменных лабиринтов. Тогда она закричала: *«Ак вар, дзиа!»*[17]

Я представил себе маленькую девочку, потерявшуюся в этих величественных пещерах, и картина ожила среди молчаливых скал.

— Ее отец, царь Георгий III, был так тронут этим моментом, что повелел назвать монастырь Вардзия, — с блеском в глазах и улыбкой на лице закончила рассказ Ламара.

Эта история вызвала во мне теплые чувства, возможно, потому что я будто услышал тот детский крик маленькой Тамары. А может, потому, что искренняя, как у ребенка, улыбка Ламары ни на миг не оставляла равнодушным мое сердце.

— Забавно, как из таких простых моментов рождаются великие вещи, — произнес я, поглядывая на пещеры, которые теперь казались мне не просто архитектурным чудом, — в них было что-то живое, что-то, что корнями уходило в историю.

— Да, — согласилась Ламара. — Порой именно такие простые мгновения проходят через века, оставляя след в судьбах целого народа.

— Что было потом? — спросил я, не отводя глаз от ее лица.

— Царица Тамара превратила Вардзию в монастырь и духовный центр. Здесь монахи стяжали благодать, учили вере, молились и трудились, сохраняя духовное наследие Грузии, — произнесла Ламара с явным почтением. — У них было все необходимое: кельи, церкви, библиотеки. В те времена Вардзия была живым организмом, в котором каждый элемент был на своем месте. В этих пещерах когда-то жило более двух тысяч человек. Представь себе — почти пятьсот помещений, включая жилые комнаты, трапезные, винные погреба, кладовые. Монахи, воины, простые люди — все они обитали здесь, в этих каменных стенах, объединенные верой и стремлением сохранить свою землю и культуру.

В глазах Ламары читались уважение и гордость за свой народ. Брови слегка приподнялись, добавляя ее словам значимости, а на щеках появился легкий румянец, как бывает, когда говоришь о чем-то, что особенно близко к сердцу.

— Но что же случилось с Вардзией?

Ламара глубоко вздохнула, и на ее лице мелькнула тень грусти. Взгляд на мгновение затуманился. Собравшись с мыслями, она тряхнула головой и продолжила:

— В XIII веке монголы разрушили бóльшую часть Вардзии. Во время одного из многочисленных вторжений Вардзия сильно пострадала. Монгольские армии не щадили ничего — ни людей, ни храмов. Они разрушили стены крепости, разорили монастыри, унесли с собой все, что могли найти. Но это было не единственное испытание для Вардзии.

Я чувствовал, как эта история витает в воздухе и пробуждает сожаление и горечь.

— После, через десятки лет, произошло землетрясение. Оно окончательно разрушило большую часть города. Около трети пещер, которые скрывали подземные храмы и жилые комнаты, обрушились в долину. Передний фасад Вардзии исчез. То, что раньше было скрыто в недрах горы, теперь оказалось открытым взору.

Слова Ламары поразили меня — оказывается, когда-то все эти величественные пещеры были спрятаны от глаз непосвященных…

— Но даже после этих разрушений Вардзия не потеряла своей значимости, — продолжила Ламара. — Монахи оставались верны этому месту. Они продолжали жить здесь, молились и совершали службы. Во время нашествий врагов и землетрясений бóльшая часть комплекса была разрушена, но уцелели важные части, включая церковь Успения Богородицы. — Ламара кивнула в сторону глубокой пещеры, вырубленной в самом сердце скалы.

Когда мы вошли внутрь, перед нами открылась самая большая пещера комплекса: четыре массивные колонны поддерживали арку, а на стенах и сводах проступали фрески XII века — сцены из жизни Христа, фигуры апостолов, ангелов и — особенно трепетный образ юной царицы Тамары, увенчанной крестом и короной, рядом с ее отцом, царем Георгием III.

Несмотря на то что храм высечен в камне, он воспринимался как живое, дышащее пространство. Его акустика была удивительна: даже шепот в алтарной части улавливался у самого входа. Это место хранило дух веры, который не смогли сломить ни годы, ни захватчики, ни землетрясения.

— Когда на Грузию нападали враги, это место дарило людям надежду. Царица Тамара, которую здесь столь почитают, видела, что борьба — это не только сражение на поле боя. Это сражение за веру, за души людей. И Вардзия стала оплотом этой борьбы.

***

Отец Лонгин вдруг нахмурился и замолчал. Чтобы разогнать ненастные тучи, сгустившиеся над ним, я спросил:

— Вардзия или Колизей? Что бы вы выбрали, если бы этот вопрос задали вам тогда?

Отец Лонгин медленно поднял на меня глаза. Его лицо по-прежнему оставалось серьезным, но в глубине глаз на мгновение мелькнуло что-то вроде удивления или даже легкой улыбки.

— Колизей всегда ассоциировался у меня с борьбой, мощью тела и воли, драматизмом схваток. Для меня, как для бойца, он был символом величия, силы, триумфа. В зрелищах, где человеческая жизнь становилась развлечением, я не видел греха. Я смотрел на это иначе — казалось, что это и есть вершина человеческих возможностей. Выстоять, победить, доказать свое превосходство — в этом был для меня смысл.

Но также я не смог бы отрицать, что Вардзия пробудила во мне что-то совершенно иное, противоположное моему тогдашнему мироощущению. Когда я стоял перед этой скалой, осознавая, что передо мной пещерный город, живший своей жизнью сотни лет назад, я понял: здесь сила не в показной мощи, как в Колизее, а в глубине духа — в том, что выдерживает века без шума и аплодисментов. Скорее, тихой, духовной, но не менее могущественной. И если в Колизее велась борьба за славу и кровь, за победу над другим, в Вардзии она была иной — это была борьба за душу, где каждый шаг был направлен внутрь себя, за поиск мира с самим собой и с Богом…

Немного погодя, словно взвешивая воспоминания, отец Лонгин произнес:

— Но тогда я бы ответил: Колизей... Потому что в тот момент я не знал иной силы.

Глава 19. Алаверди

Следующим утром мы отправились туда, где воздух насыщен ароматом спелого винограда, а вино делается в *квеври*, как и тысячи лет назад. Ламара не спешила рассказывать, куда ведет наш путь, пока я не заметил виноградники, медленно проплывающие за окнами автобуса. Они простирались до самого горизонта; их зеленые лозы покачивались под малейшим дуновением ветра, а солнечные блики играли на поверхности налившихся гроздей, создавая живую мозаику света и тени. Более не в силах сдерживать свое любопытство, я спросил:

— Куда же мы едем, Ламара?

Она мягко улыбнулась, ее взгляд оставался прикованным к бескрайним виноградным полям, и, словно делясь чем-то сокровенным, ответила:

— Туда, где время теряет свой ход … Где все пропитано терпением и любовью к земле, которая встречает нас своим дыханием, — где начинается история вина, которое заключает в себе душу этой земли…

Эти слова звучали как приглашение в мир, в котором каждый миг проживают всем сердцем…

Когда мы подъехали к месту назначения, солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы осветить стены святой обители, пережившие войны, землетрясения и смену эпох. Мы вошли во внутренний двор, надежно укрытый каменными оградами, сложенными там еще в эпоху Средневековья.

— Здесь веками подвизались монахи, — сказала Ламара, ведя нас дальше. — Помимо молитвы и труда, они сохраняют древнюю традицию виноделия с VI века. Даже во времена атеистической политики монастырь продолжал готовить вино для церковных нужд.

Мы подошли к собору Святого Георгия:

— Этот величественный собор был заложен в XI веке по повелению царя Квирике III на месте маленькой церкви, основанной святым Иосифом Алавердским — одним из тринадцати ассирийских отцов, — объяснила она.

Я остановился, чтобы оглядеться.

— Вокруг храма со временем вырос монастырский комплекс: кельи, трапезная, винные погреба и крепостные стены с башнями, построенные в XV–XVIII веках для защиты обители.

Храм, горы, виноградники сливались в единое полотно, где каждый элемент был частью живого организма. Вдали, за монастырем, возвышался заснеженный пик Казбеги. Глядя на него, я вдруг ощутил, как меня накрыло теплой дрожью — память о том утре на вершине горы вспыхнула так неожиданно ясно, как если бы прошлое и настоящее слились в одно: я ощущал себя и здесь, у стен Алаверди, и там, на краю облаков, где моя вселенная сжалась до одного взгляда, до легкого касания, в котором жила ее нежность.

Там, где все земное казалось таким далеким, я вдруг ощутил ее близость так, как никогда раньше. Это было нечто большее, чем просто мгновение рядом. Это было чувство, что душа откликается на чье-то дыхание, что будто сама дорога обрела смысл, и даже если однажды расстояние разделит нас, эта связь останется навсегда. Это понимание пришло ко мне не тогда, на вершине, а здесь, вдали от горы, на которую я теперь смотрел иначе. Она больше не была просто вершиной, не была лишь символом величия природы. Она стала частью чего-то личного. Чего-то, что я уже не мог забыть.

— Чего ты там застыл, Кипиани? — Голос Ламары вырвал меня из мыслей, возвращая

в Кахетию.

Я моргнул, переводя взгляд с Казбеги на нее. В ее глазах светилось легкое любопытство и что-то еще — что-то неуловимое, будто она уже знала ответ на свой вопрос.

— Просто смотрю, — ответил я, по-прежнему чувствуя тепло воспоминания.

Ламара чуть прищурилась.

— И что ты там видишь?

— Не знаю… — выдохнул я.

Ламара слегка улыбнулась.

— Думаешь, гора изменилась?

Я покачал головой.

— Нет. Я изменился…

Она молча смотрела на меня, давая возможность договорить, но я не мог. Все было слишком просто и слишком сложно одновременно.

— Кипиани, Ламара, вы как? Или вам дать еще пару минут на размышления о вечном?

Купер, поправляя камеру, усмехнулся и театрально закатил глаза:

— Посмотрите на этих двоих. Кажется, они остались на той вершине.

Тамаз, возясь со светом, хмыкнул:

— Если мы будем так долго ждать, солнце уйдет, и в итоге снимем только ночной Алаверди.

— Думаю, мы просто слишком органично вписались в пейзаж, — отозвалась Ламара, а потом, обратившись ко мне, прошептала: — Кажется, нас вернули на землю. Пора, Кипиани…

Я глубоко вздохнул, убрал руки в карманы и, наконец, оторвался от Казбеги.

— Все, иду, — сказал я, делая шаг вперед.

Ламара кивнула и отправилась к ребятам, а я задержался на секунду, глядя, как ветер развевает ее волосы. Теперь я знал, что Казбеги останется со мной не только на пленке.

***

— Отец Лонгин, это был тот самый момент, когда вы осознали свои чувства к ней?

Он опустил взгляд, провел пальцами по деревянным четкам, будто припоминая что-то далекое, но все еще живое.

— Я не искал объяснений тому, что чувствовал. Я не называл это. Я просто знал, что с ней было спокойно. Что рядом с Ламарой мир становился… целым.

Я молчал, давая ему время собраться с мыслями.

— Но это чувство было… оно жило где-то на краю сознания, в мелочах — в том, как я замечал за собой, что ищу ее взгляд в толпе, в том, как тишина рядом с ней казалась наполненной, а не пустой…

Он на мгновение закрыл глаза, а затем, будто вернувшись в настоящее, посмотрел на меня.

— Казбеги только шепнул мне об этом. Но услышал я этот шепот слишком поздно...

Я ждал, надеясь, что он продолжит, но он молчал. И вдруг меня осенило.

Он так и не сказал ей.

Я сглотнул, ощущая, как изнутри поднимается тягостное чувство.

— Вы так и не признались ей? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— Нет, — ответил он. — Не признался.

Я представил, сколько было моментов, когда он мог обо всем ей сказать. Но он молчал... Может, думал, что еще успеет. Может, боялся. Может, просто не знал, как говорить о том, что было больше его самого. А потом… Потом время ушло.

Но что, если бы он сказал те самые слова? Что, если бы одно признание изменило ход их истории? Если бы все сложилось иначе?

Я взглянул на отца Лонгина и понял — этот вопрос не оставлял его. Он засыпал и просыпался с ним, ходил на службы, совершал молитвы. *«А если бы?..»* Эта мысль, как незаживающая рана, не исчезала, потому что не приносила утешения.

Я вдруг понял, почему он называл свою тоску крестом. Это была не просто боль утраты. Это был груз несказанных слов. Человек может скорбеть о тех, кого потерял. Но есть боль, которая глубже. Боль о словах, которые так и остались несказанными. Вот что он нес. Вот что было его крестом. Не утрата, а память о том, чего он так и не сделал. О том, что, может быть, изменило бы все. Или… не изменило бы ничего. Теперь он этого уже не узнает.

— Не вините себя, отец Лонгин, вы не…

— Нет, Саба. Я мог… — Он опустил глаза, провел ладонью по четкам, будто хотел стереть что-то невидимое — может, воспоминание, а может, вопрос, который звучал в нем годами. — Иногда мы прячемся за обстоятельства, за страхи, за время, но в конце концов правда остается одной: мы сами решаем, сказать или промолчать, сделать шаг или остаться на месте.

Я остался. Остался у стен Алаверди, в своем молчании, в своих сомнениях. А она… она осталась там, на той холодной горе, где я когда-то согрел ее руки, но не сказал того, что должен был сказать.

Это мое бремя, и только мое. Ибо *«Сила Моя совершается в немощи»*[18].

В его словах не было ни самооправдания, ни отчаяния. И я вдруг понял — он держался за боль потому, что через нее учился смирению. Он не просил облегчения. Он принял это как крест, который должен нести до конца.

— Вы не хотите, чтобы Господь освободил вас от этого, так? — спросил я осторожно.

Он поднял на меня взгляд.

— Если бы не эта ноша, если бы не это воспоминание… кто знает, каким бы я стал?

Он говорил не о прошлом, не о сожалении. Он говорил о Пути. О том, что даже скорбь может стать не камнем, который тянет на дно, а причиной идти дальше. О том, что человек не становится слабее, когда несет свой крест, напротив — он становится сильнее.

Глава 20. Бодбе

— Мы почти приехали, — произнесла Ламара, глядя в окно. — Бодбе уже близко.

Когда автобус остановился, монастырь едва вырисовывался в сумраке туманного утра. Высокие кипарисы тянулись к небу, и все дышало покоем.

— Это место связано со святой Нино, — сказала Ламара у входа в обитель. — Здесь она завершила свой земной путь.

Мы поднялись по ступеням, осторожно ступая по скользким после дождя камням, и оказались перед храмом Святого Георгия.

— Храм возведен на месте ее могилы. Люди приезжают сюда, чтобы прикоснуться сердцем к ее подвигу и попросить о заступничестве. А чуть ниже, — Ламара указала вдоль склона, — течет источник. По преданию, он забил здесь по молитве святой Нино. С тех пор люди идут к нему с верой — за исцелением.

— Надо срочно идти! — сказал Гога. — Нико необходим святой источник для отрезвления! Пусть хоть немного святости впитает, а то в нем только *киндзмараули* да *хванчкара*! И я воды наберу, может, пригодится кому по дороге в свет…

— Тогда несите меня, — отозвался Нико с притворной серьезностью. — У меня внутреннее паломничество, ноги пока не участвуют.

Ребята переглянулись и, не сговариваясь, один подхватил его под колени, другой — за плечи.

— Эй, аккуратней! — засмеялся Нико. — Я вообще-то духовно хрупкий!

— И физически тяжелый, — фыркнул Купер, перехватывая друга поудобнее. — Такое чувство, будто несем не Нико, а целый винный погреб!

Ребята весело переговаривались, шагая вниз по тропинке, а мы с Ламарой вошли в храм. Внутри царил полумрак. Неподалеку от иконостаса находилась могила святой.

— Во времена нашествий храм несколько раз подвергался разрушениям, но что поражает — могила святой Нино всегда оставалась нетронутой, ее почитали даже захватчики, — сказала Ламара.

Я молча стоял перед плитой, под которой покоится святая Нино, чувствуя, как холод камня отзывается внутри острой и одновременно притупленной болью. Казалось, это место вдруг стало для меня особенным, но почему — этого я не мог объяснить.

Ламара стояла рядом, ее лицо было погружено в тень, она долго всматривалась в резьбу креста, как будто читала что-то, видимое только ей.

— Могила… — повторила она, ее голос растворился в тишине, словно принадлежал не ей, а самому этому месту. — Это не конец. Это лишь часть пути.

— Что? — переспросил я, уловив ее шепот.

— Мы всего лишь гости здесь, — сказала Ламара, ее взгляд все еще был устремлен на плиту. — В этом мире, в этой жизни. Все, что мы считаем своим, — временно. Наши дома, наши мечты, даже наши тела… Все это дается нам ненадолго.

— Что ты имеешь в виду?

— Лишь то, что никто из нас не избежит этого, — она кивнула на захоронение. — Важно не бояться этой двери, а войти в нее с миром, когда придет время.

— Гости… — повторил я медленно и тоже задержал свой взгляд на плите. — И что нам остается?

— Жить так, чтобы не бояться уйти. Мы не хозяева этой земли, этой жизни. Мы лишь путники. И когда нас позовут дальше, все, что мы сможем взять с собой, — это то, что мы

успели вложить в других.

Я посмотрел на Ламару, пытаясь осмыслить ее слова.

— Но зачем тогда все это? Почему мы так цепляемся за то, что не можем удержать?

— Потому что мы забываем, что все это временно. — Мы строим, собираем, ищем чего-то, но все это — только декорации на нашем пути.

Прежде чем она вновь заговорила, выражение ее лица на мгновение изменилось — она будто что-то припомнила.

— Тепло, — произнесла она с едва заметной улыбкой. — Тепло в сердцах других. Все остальное исчезнет — дома рухнут, воспоминания потускнеют. Но то, что ты успел передать кому-то, будет жить дальше.

Я вновь взглянул на плиту, и ее холод вдруг стал почти осязаемым. Он просачивался через меня, как вода сквозь тонкую ткань.

— Мы все однажды уйдем, — добавила Ламара, будто догадывалась, что творилось в моей душе. — Но это не страшно, если помнить, что путь продолжается.

— Я не боюсь смерти… Но мне тяжело представить, что она заберет тех, кто мне дорог.

Ламара тихо вздохнула.

— Потому что ты думаешь, что смерть разлучает, — сказала она. — Но это не так.

— Как это? Разве ты не знаешь, что значит потерять кого-то? Разве не бывает такого, что человек исчезает, оставляя после себя чувство пустоты?

— Бывает, — кивнула она. — Но эта пустота — не от смерти. Она от того, что мы не понимаем, что такое жизнь. Исчезает только то, что было поверхностным, временным. Но все, что настоящее, остается.

— Остается где? В памяти? Этого слишком мало.

— Ты когда-нибудь задумывался, что такое память? Почему даже годы спустя образ человека вдруг встает перед тобой в каком-то случайном воспоминании: запахе, музыке, словах?

Я молчал.

— Потому что он не уходит, — продолжила она. — Просто мы больше не видим его так, как привыкли.

Я тяжело вздохнул, ведь еще в юношестве я потерял отца — он умер из-за сердечного приступа.

— От этого осознания не становится легче.

— Нет, — вздохнув, согласилась она. — Не становится. Потому что они уходят, а мы остаемся. Потому что нам кажется, что потеря — это разрыв. Но если бы это было так, Христос не пришел бы в этот мир. Он бы не воскрес, не победил смерть. Потеря — это не разрыв. Это переход. Человек уходит за горизонт, но это не значит, что его больше нет. Просто мы пока не можем его видеть.

Я сжал пальцы в кулак, пытаясь сдержать боль от потерь, что давно укоренилась в моем сердце.

— Никто не уходит в пустоту, — продолжила Ламара. — Если человек жил с Богом, его душа переходит туда, где нет ни боли, ни скорби, ни смерти, лишь мир и свет. А если он не знал Бога, то наши молитвы могут стать для него милостью, потому что Господь не отвергает ходатайства любящих сердец. Когда мы молимся за усопших, мы словно протягиваем им руку, и эта любовь становится для них утешением.

Я закрыл глаза.

— А если я хочу снова увидеть их и тоже почувствовать их любовь?

— Тогда живи так, чтобы встретиться с ними. Потому что однажды эта встреча случится. Это не вопрос *если*, это вопрос *когда*.

Я молча кивнул и огляделся — храм был почти пуст. Лишь старушка в углу беззвучно перебирала четки, и этот ритм, казалось, совпадал с биением моего сердца...

Глава 21. Виноградники

После Алаверди мы отправились по виноградникам Кахетии. Там, среди зеленых склонов, мы дегустировали вина, бродили по винодельням, слушали истории старых мастеров и наслаждались медленными летними вечерами. В Кахетии жизнь текла неспешно: сено сушилось на полях, дети бегали босиком, а аромат винограда наполнял воздух. Так, незаметно, мы остались там на все лето.

Когда настало время возвращаться, Ламара, улыбнувшись, сказала:

— Вы попробовали все самые известные вина Грузии. Но лучшее кроется в маленьком погребе у старика Хвичи, который всегда с радостью встречает гостей, особенно если они любят хорошее вино.

Мы охотно согласились и вскоре направлялись в уютное местечко, спрятанное среди холмов, где, по словам Ламары, нас ждали искренние истории о виноградной лозе и жизни.

Нас встретил хозяин винодельни Хвича — радушный старик девяносто девяти лет, чье лицо было испещрено сетью морщин, словно карта всего пройденного им жизненного пути.

— *Кетили икос тквени мобрдзанева цминда вазис мицазе!*[19] — дружелюбно поприветствовал он нас, крепко прижимая к себе, будто давних друзей, желая выразить свою радость от встречи. — Здесь каждая гроздь — это плод кропотливого труда людей, которые живут на этой земле с искренней верой в сердце, — произнес Хвича, поясняя, почему называет этот виноград святым. — Пойдемте, я покажу вам, — добавил он, уверенно шагая вдоль виноградников, и мы, как алчущие путники, последовали за ним, стремясь прикоснуться к истинам, скрытым в этой плодородной земле.

Его добрые глаза искрились жизнью и мудростью, которой он делился с той необычайной простотой, свойственной людям, близким к земле. Старик с трепетом и гордостью рассказывал нам о каждом сорте винограда; в его словах чувствовалась особая любовь, будто он говорил не о винограде, а о своих детях — о том, как по-разному раскрываются сорта, обретая свои уникальные характер и душу, напитанные терпением и щедростью этой земли.

Затем Хвича провел нас в *марани*[20], где старинные *квеври* были зарыты в землю. Он откупорил один из сосудов, чтобы угостить нас вином, которое созревало годами и которое он по обыкновению называл *гхвино*[21].

— *Гхвино* — это часть души нашей земли, — произнес он, протягивая мне наполненный стакан.

Я взял стакан из его рук, ощущая, как приятная прохлада стекла касается моих пальцев. Медленно поднес стакан к губам, вдыхая аромат вина — насыщенный и терпкий, с заключенными в нем солнцем, землей и самим временем, готовыми раскрыться в тебе с каждым глотком. И я уже было хотел попробовать напиток на вкус, как вдруг услышал шепот Ламары, обращенный ко мне: *тост*. Она напомнила мне о традиции, которую в Грузии соблюдают с особым почтением.

Я замер, чувствуя торжественность момента. Перед глазами промелькнули образы из прошлого. Я почувствовал аромат вина, смешанный с ароматом еды. Увидел лицо отца, вспомнил, как звучал голос, когда он произносил тосты о семье, о любви, о том, как важно ценить каждый момент, проведенный вместе, и как мы все, затаив дыхание, слушали его. Подняв глаза, я посмотрел на Ламару, на старика Хвичу, на всех, кто был со мной в этот момент, и почувствовал желание поделиться с ними чем-то важным. Слегка улыбнувшись, я поднял стакан и произнес:

— За эту землю и людей, что с любовью взрастили каждую гроздь. За то, что в каждом глотке вина заключена история наших предков. И за тех, кто хранит эту историю, передавая из поколения в поколение. Пусть это вино станет связующим звеном, объединяя нас, подобно тому, как виноградник не может вырасти в отрыве от земли. Пусть наши души будут так же крепки, как виноградная лоза, и сердца так же щедры, как солнце, что дарует жизнь этим плодам.

— *Шени садгегрдзело имсахуребс дид пативисцемас!*[22]— сказал старик, решительно подняв стакан. — *Сакартвелос гаумарджос!*[23]— добавил он, испив вино до дна, словно скрепляя этим каждое мое слово.

Мы с ребятами последовали его примеру. Взглянув на друзей, я увидел в их глазах ту же преданность и любовь к этой стране. Мы стали частью истории, частью этой земли. И в этот миг все расстояния, все различия исчезли, оставив лишь приятное послевкусие вина.

После небольшой дегустации Хвича предложил подняться в дом, где в гостиной он усадил нас за старый дубовый стол, впитавший многолетнюю историю встреч и разговоров. Мы, слегка захмелевшие от вина и обволакивающей нас атмосферы, уселись вокруг стола, предвкушая удивительные истории.

Видя наше нетерпеливое ожидание, Хвича ухмыльнулся, понимая, что мы жаждем от него услышать. Его глаза, полные жизненной мудрости, блеснули с озорным прищуром.

— Сначала закусить! — сказал он, подняв указательный палец вверх, как человек, знающий толк в традициях. — Я сейчас быстренько приготовлю *мчади*[24], и мы съедим их с домашним сыром! — с гордостью заявил он. Затем Хвича с неожиданной для своего возраста бодростью направился в кухню, скрытую за аркой в глубине просторной комнаты.

Ламара поспешила за стариком.

Мы с ребятами переглянулись, и я шутливо спросил их:

— Ну что, поможем или оставим всю славу им?

Они вскочили с мест и рванули вслед за Хвичей и Ламарой. Смех и шутки заполнили дом, когда все дружно начали таскать закуски из кухни. На столе появились свежий сыр, домашний хлеб, соления. Ребята перемигивались, каждый старался ухватить что-то, словно по негласному соревнованию.

Ламара энергично замешивала тесто, Хвича подсыпал муку. В его глазах читалось радостное волнение.

Я подошел ближе, готовый помочь. Старик, верно истолковав мое желание к ним присоединиться, широко улыбнулся.

— *Швилишвило*[25], позволь ему помочь! — воскликнул он, подмигивая мне. Ламара обернулась и, заметив, как я наблюдаю за тем, как она вымешивает тесто, произнесла:

— Ну что ж, мы видели, на что способны эти руки в бойцовских перчатках. — Она выразительно посмотрела на мои пальцы, еще хранившие следы от недавних тренировок. — Теперь покажи, что они могут на кухне!

Ее слова зажгли в моем сердце искру вдохновения. Ламара посторонилась, и я занял ее место, вымешивая тесто с тем же рвением и усердием, с какими готовился бы к поединку.

Ламара и Хвича с интересом наблюдали за мной. Их взгляды были полны дружелюбия и любопытства.

— Полегче, Кипиани! — с веселой усмешкой заметила Ламара. — Ты же не на ринге!

Хвича, посмеиваясь, добавил:

— Да, не стоит так напрягаться, здесь у нас не бой, а *мчади*!

Мы захохотали, и я начал понимать, что готовка — это тоже своего рода искусство, где важен результат, но не менее важно умение наслаждаться процессом.

— Ламара, у тебя мука на щеке, — с улыбкой заметил я.

— На какой?

— На левой! Сейчас. — Я нарочно коснулся ее правой щеки.

— Но это правая!

— Точно! — сказал я, и мы оба не удержались от смеха.

Хвича, наблюдая за нами, усмехнулся.

— Ну, на ринге хоть не путаешь право и лево! — шутливо бросил он.

Казалось, все волнения и тревоги могли улетучиться на этой маленькой уютной кухне, наполняя сердца покоем и радостью.

Когда мы сели за стол, голос Хвичи, который звучал как продолжение ритмов старинных грузинских песен с их мягкой, тянущейся мелодикой и глубокой грудной вибрацией, постепенно перенес нас в другое время, — где мудрость передавалась не только через книги, но и тосты. Размеренная речь старика перемежалась паузами — он не спешил разбрасываться словами и знал им цену.

— *Гхвино* для нас, — начал он, разливая напиток по чашам, —это не просто вино. Это кровь нашей земли, история, которую мы не пишем, а проживаем. Здесь, в Кахетии, традиции передаются из поколения в поколение, как драгоценные реликвии. *Гхвино* — это труд многих рук, солнца и дождя, а еда — то, что объединяет нас всех за этим столом. — Хвича взял кусочек сыра.

Грузины на свадьбах пьют *гхвино* из *кханци*[26], которые никогда не остаются пустыми. Каждый *кханци,* наполненный *гхвино,* символизирует благословение для молодой пары. И не только на свадьбах! У нас даже на похоронах *гхвино* течет рекой — чтобы проводить человека в последний путь с должным почтением. — Сказав это, Хвича поднял свой рог и испил из него до дна.

Затем Хвича рассказал нам о том, как в молодости, во время сбора урожая, познакомился со своей будущей женой. Ее звали Ия. Она была так красива, что он забыл, что нужно собирать виноград, и целый день следовал за ней по пятам, стараясь завоевать ее сердце. Мы все по-доброму смеялись над его рассказами о юношеской любви, и казалось, что старик молодел на глазах, вспоминая моменты из прошлого.

Но вдруг его глаза словно потускнели, и я заметил, как он крепче сжал стакан — будто что-то держал в себе. Через мгновение старик запел:

Ту асэ турпа икави,
Рад вер гамчневди, иао?
Имад ром сикварулиствис
Гули ар гамигиао.[27]

Мы слушали его пение, и казалось, что каждый звук проникает прямо в сердце, оставляя теплый и одновременно жгучий след.

Хвича не отводил взгляда от виноградника за окном, где в его воспоминаниях все еще гуляла она — смеющаяся, молодая, с солнечным светом в волосах. «*Ту асэ турпа икави…*»

Последняя строчка сорвалась с его губ почти шепотом — будто голос не выдержал того, что переживало сердце.

В гостиной повисла тишина. Никто не решился ее нарушить. Старик еще долго сидел с закрытыми глазами, а потом произнес:

— Она всегда смеялась, когда я пел ей эту песню. Говорила, что я сбиваюсь с мелодии, но все равно просила спеть еще.

Он улыбнулся, но в его глазах отражалась боль утраты, с которой, казалось, он уже должен был давно смириться.

— И сейчас она бы попросила то же самое, — тихо произнесла Ламара.

Хвича кивнул.

— Но кто-то ведь должен собрать виноград, — подытожил он.

Мы снова засмеялись, и в этом смехе звучало уважение к человеку, который сумел

сохранить любовь, несмотря на годы и разлуку.

— Пока я рассказываю, вы ешьте, — сказал он, обращаясь к Куперу. Хвича с ловкостью схватил большой кусок копченой курицы и положил на его тарелку. — Ты такой худой, как же ты собираешься воровать девушку, чтобы на ней жениться?

— Старик прав, ты и мешок не донесешь! — с хохотом кинул Гога.

— Что? — переспросил Купер, не понимая наших шуток.

— Ешь, говорят, так станешь крепким и сильным! — ответил Гога, продолжая смеяться.

— Отвали, мелкий! — шутливо бросил ему Купер, а после мы все дружно рассмеялись.

— Закуска всегда идет к *гхвино*, как сердце идет к дому, — продолжил старик Хвича и положил ломтик сыра на *мчади*, предлагая нам попробовать.

В его историях были не только шутки, но и мудрые уроки, которые передавались из уст в уста как самое ценное наследие. Он говорил о том, что нужно быть терпеливым, любить свою землю, чтить память предков и оставаться верным своим корням.

В какой-то момент Хвича попросил Ламару сказать тост.

Она немного смутилась от оказанной ей чести, а потом заговорила:

— Поскольку мы находимся на земле винограда, в Кахетии, я бы хотела начать с притчи о виноградаре, если позволите...

Ее голос звучал проникновенно, а глаза сверкали, как звезды. Каждый из нас чувствовал, что сейчас услышит нечто важное.

— *«Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь»*[28], — сказал Христос. Эти слова являются символом нашей жизни и нашего пути.

Бог — наш виноградарь, заботящийся о каждой лозе. Если ветвь не приносит плодов, ее отсекают, но та, что приносит, становится еще сильнее… — Взглянув на меня, она продолжила: — Мы как эти ветви — когда возвращаемся к своим корням и своей вере, начинаем приносить плоды. Без Бога мы засыхаем, как ветви, лишенные жизни. Но если мы с Ним — наша душа оживает, наполняясь истинным смыслом...

Каждый из нас может стать плодовитой ветвью, если будет открываться любви и мудрости, которые нас окружают. В мире, полном забот и тревог, важно помнить о своих корнях и о том, что мы все связаны между собой, как лозы в этом *святом винограднике*. — Подняв свой бокал, она заключила: — Пусть наша вера будет столь же неизменной и твердой, как корни этих виноградников, что веками впитывают силу этой земли!

После слов Ламары ребята начали выкрикивать свои тосты, поднимая бокалы.

— *Сакартвелос гаумарджос!* За любовь, что нас объединяет!

— За жизнь, что дарит нам силу!

— За веру, что помогает нам расти!

Я чувствовал, как вера в себя и своих близких крепнет, а сердце наполняется надеждой и светом. Тосты звучали как обещание, что мы никогда не забудем, откуда пришли, и всегда будем стремиться к светлому будущему.

Эта история о любви и заботе Творца о каждом из нас заставила меня задуматься о том, как важно следить за своим сердцем и жизнью, как виноградарь следит за каждой веточкой лозы.

Солнце уже клонилось к горизонту, и пришло время прощаться. Мы окружили старика как преданные друзья, готовые запечатлеть этот миг в своих сердцах.

Первыми к нему подошли ребята, в их взглядах сквозила тревога: девяносто девять лет — это не просто цифра, а целая эпоха, и никто не мог знать, будет ли у них возможность вновь взглянуть в его мудрые глаза. Они обменивались объятиями, полными уважения и благодарности. Хвича в ответ похлопывал каждого по плечу, давая понять, что у него еще

есть силы на следующий год урожая.

Когда я подошел к старику, чтобы попрощаться, его взгляд задержался на мне чуть дольше, словно он хотел запомнить каждую черту моего лица. Он коснулся моей руки, и, хотя его пальцы, ослабшие с возрастом, уже не обладали прежней силой, в них все еще ощущалась выносливость виноградаря, годами обрабатывающего землю.

— Помни, сынок, — начал он, — главное — это не сколько лет ты проживешь, а как проживешь их. Никогда не забывай: где бы ты ни был, твои корни здесь, в этой земле. И куда бы ты ни пошел, она всегда примет тебя обратно, как своего сына. *Гмертма сикетит гатарос*[29], — закончил он, крепко сжимая мою руку. Я смотрел в его глаза и чувствовал, как слова, сказанные им, укореняются во мне, словно обет, который нельзя нарушить. Я кивнул и поцеловал его руку.

— *Швилишвило, ковел набиджс, ромелсац гададгам, ес гзис нацилиа. Небисмиер матганс миекване сикваруламде да бедниеребамде*[30], — произнес он, мягко касаясь щеки Ламары.

— *Бабу*[31], — прошептала она и тоже поцеловала его руку, желая получить благословение.

— *Дгегрдзели икав!*[32] — сказал старик, осенив ее крестным знамением, а после и всех нас. — Если Богу будет угодно, мы вновь встретимся среди виноградников, и я расскажу вам дивные истории.

Мы простились с Хвичей, пообещав вернуться на его столетний юбилей в следующем году.

Старик проводил нас до машины, протягивая корзину с вином и сыром.

— Возьмите, дорогие, випейте за меня, когда будете произносить тосты, и не забудьте…

— Сначала закусить! — одновременно крикнули мы совсем как дети.

— Все правильно! — подтвердил он с улыбкой, полной отцовской заботы.

Хвича стоял у ворот, махал нам на прощание, пока наш автобус медленно отъезжал. Его фигура постепенно уменьшалась на фоне багрового неба. Ветер трепал его волосы, а на лице теплилась ласковая улыбка. Мы смотрели на него, махая в ответ, пока он не превратился в маленькую точку вдали.

***

— Поездка в Кахетию стала для меня настоящим паломничеством к истокам, — сказал отец Лонгин. — Оттуда восходит моя родословная. Ламара привезла меня туда не только ради красоты этого места, но и для того, чтобы я ощутил глубинную связь с землей, которая напомнила мне, что я часть чего-то большего. И тогда ко мне наконец пришло осознание, что возвращение домой — это не просто линейное движение, это погружение в историю и культуру своего народа. Это путь к Богу и к самому себе — к тому, кто я есть на самом деле и кем я должен быть.

Не удержавшись, я задал вопрос, ответ на который надеялся раскрыть к концу его истории:

— Значит, на родину вас вернула любовь?

— Боль, — ответил отец Лонгин. — Пронзающая боль… — Сказав это, он будто наткнулся на черту, за которую не хотел заходить. — Пришло время молитвы, — вымолвил монах, словно слово *молитва* в этом контексте было названием лекарства.

Глава 22. Давид-Гареджи

Солнце только начинало подниматься, и вокруг нас расстилались радужные холмы. Склоны переливались терракотой, медью, пепельно-серым, кофейным, местами — фиолетовым и оливково-зеленым. Как будто сама земля была сложена из слоев краски. Эти разноцветные волны тянулись до самого горизонта, перетекая друг в друга, как выцветшее покрывало.

Мы ехали к древнему монастырскому комплексу, спрятанному среди скал и полупустынных равнин. Его основал в VI веке Давид Гареджийский, один из тринадцати ассирийских отцов.

***

Наконец машина остановилась. Воздух был сух и напоен каким-то особым ароматом — смесью пыли и аскетизма.

Ламара первой открыла дверь. Глубоко вдохнув, она сказала:

— Здесь говорит земля. Слушайте.

Я молчал, глядя на эти суровые камни, на скалы, которые видели больше, чем мы могли себе представить. Этот путь ощущался как паломничество внутрь себя, к тем местам, где каждый шаг будто возвращает тебе утраченные части. Напоминание, что даже бесплодная земля может стать домом.

— Говорят, Давид Гареджийский никогда не пил тут воды, — сказала Ламара. — Он считал, что так монахи забудут о смирении. Он ходил в Тбилиси за водой пешком.

Она шла медленно, словно каждый шаг по этой святой земле имел свой вес, и продолжала рассказывать:

— Давид-Гареджи — это целая вселенная, вырезанная в камне. Смотрите… — Ламара указала на скалу с вырубленными в ней кельями, и вскоре мы очутились в главном храме, скрытом в ее толще. — В этих пещерах жили монахи. Здесь сохранились фрески, которым больше тысячи лет. Некоторые из них пострадали во время нашествий, особенно в XIII веке, когда до обители Давида-Гареджи дошли монголы. Они разрушили часть монастыря, но не смогли сломить его дух.

Я стоял перед древними фресками и не знал, на чем сфокусировать свой взгляд. Их краски почти ушли, остались лишь охра да слабые следы синевы, но почему-то именно это делало их ближе. Было чувство, что я попал в чей-то очень старый дом, где каждая трещина и пятно на стене что-то значит. И меня не покидало странное волнение — как будто эти лики наблюдали за мной гораздо внимательнее, чем я за ними. Мы подошли к одной из стен, на которой едва угадывались очертания древних изображений. Ламара провела пальцами по камню.

— Эти фрески уникальны. Здесь изображены не только религиозные сцены, но и портреты грузинских царей. Например, царя Деметре I, который был поэтом. Представьте, правитель, который писал гимны Богу!

Я вглядывался в выцветшее лицо, проступающее сквозь давние эпохи. Краски выцвели и стерлись, но суть осталась прежней — благочестие и сила духа, из которых, вероятно, рождались его молитвы.

— Деметре верил, что слово, обращенное к Богу, могущественнее меча. Его гимны — это голос души, ищущей света во времена тьмы.

Мы медленно двинулись вдоль стены, пока не остановились перед другим изображением. В полутьме храма очертания были едва различимы, но Ламара, как по памяти, точно знала, где искать.

— А вот и она — та, кого называли *солнцем Грузии*, и не столь за ее власть, но за свет, который она принесла в сердца людей. Царица Тамара! Она была великой правительницей и матерью народа — справедливой, твердой и глубоко верующей.

Ламара сделала полшага вперед и, подняв руку, провела пальцами по камню — чуть ниже лика царицы.

— Здесь раньше была надпись. Ее почти не видно, но я помню слова: *«Да будет рука моей власти покорна воле Твоей, Господи»*.

Затем она приложила ладонь к груди и перекрестилась.

— Во времена ее правления Грузия расцвела, и, что удивительно, — в летописях о ней почти нет жестоких деяний, нет крови. Она смиряла не страхом, а достоинством.

Казалось, Ламара говорила не просто о царице, — о женщине, чью душу чувствовала каждой клеточкой.

Изумленные, мы прошли дальше, к узкому проходу, ведущему в одну из келий.

— А вот здесь, говорят, молился сам преподобный Давид Гареджийский. По преданию, когда он шел в Тбилиси за водой, на этом месте он остановился, чтобы помолиться, считая, что пустыня очищает душу.

Камеры фиксировали каждый момент: свет, падающий на древние фрески; ветер, который гулял по пустынным холмам; тени, скользящие по лицу Ламары.

Она встала на уступе, откуда открывался вид на бескрайнюю долину, где небо казалось чуть ближе к земле, и сказала:

— Согласно преданию, Давид Гареджийский отправился в Иерусалим, но, считая себя недостойным ступить на святую землю, остановился на окраинах города и начал молиться. Перед возвращением в Грузию он взял три камня, лежащих у стены Иерусалима. В ту ночь ангел явился патриарху Илии Иерусалимскому и сказал: «*Монах из Грузии уносит благодать Святой Земли*». Патриарх послал гонцов догнать Давида. Когда они настигли его, он отдал им два камня, оставив себе один. И знаете, что он сказал? Что грузинская земля тоже святая…

Я всмотрелся в лицо Ламары — в ее взгляде были небо и земля и что-то еще, что нельзя было выразить словами.

— Камень украли, — продолжала она, — но спустя годы иеромонах Митрофан нашел его и вернул обратно.

Пока съемочная группа готовилась к следующему кадру, мы с Ламарой отошли немного в сторону.

— А ты когда-нибудь думал о монашестве? — спросила она неожиданно.

Я усмехнулся, почти машинально, так как вопрос показался мне странным.

— Я? Монах? Даже представить себе такого не могу.

— Почему нет?

— Я привык сражаться, Ламара, — уверенно произнес я, глядя вдаль. — Я боец, а не монах.

— А ты думаешь, монахи не сражаются? Их битвы самые сложные.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь? — задал я встречный вопрос.

— Не знаю, — ответила она спокойно. — Просто бывают люди, которым важно больше времени проводить наедине с собой, чтобы понять что-то важное. И мне кажется, ты один из них.

— И для этого нужно идти в монахи? — с сарказмом спросил я ее.

— Конечно нет. Но иногда путь сам выбирает человека.

— Это не про меня, — резко заключил я, отворачиваясь, чтобы спрятать собственные сомнения.

***

Что еще я мог тогда сказать? В те годы я действительно не был готов даже допустить возможности, что когда-нибудь приму постриг. Монашество казалось чем-то далеким, чуждым, почти нереальным. Я был бойцом, человеком, привыкшим к борьбе и адреналину, к шуму толпы и победам. Монастырские стены, молитвы, подвиги — все это виделось мне чем-то далеким и недосягаемым…

Но годы спустя, когда я уже носил имя отца Лонгина, ее слова вернулись ко мне как звуки прошлого, которое никогда по-настоящему не исчезало. Они звучали в тишине монастырских стен, в утренней прохладе кельи, в мягком свете лампады, качающейся от легкого дуновения ветра. Они звучали не в памяти, а прямо в сердце, словно никогда и не покидали меня, просто ждали, пока я буду готов их услышать...

И когда я, наконец, оказался здесь, вдали от мира, к которому привык, когда шум внешней жизни стих, а внутренняя борьба стала моим единственным боем, я понял, о чем она говорила. *Иногда путь сам выбирает человека.*

Ламара знала то, что я тогда не мог принять: путь к Богу не всегда начинается с веры. Иногда он начинается с утраты. С пустоты. С ощущения, что все, к чему ты стремился, вдруг потеряло смысл. И вот я здесь. Этот путь нашел меня, когда я был разбит. Но именно в этой потере я обрел то, что было важнее всех побед. Это был подарок, который я получил от Ламары. И он был лучшим подарком в моей жизни. Его нельзя было завернуть в бумагу или взять в руки. Это было то, что осталось мне после ее ухода — сокрушенное сердце, через которое я, наконец, смог увидеть Того, Кого так долго не замечал.

Глава 23. Аджарули

Ламара позвала меня на урок по традиционному танцу *аджарули*, который, как она говорила, отражал дух грузинской земли не меньше, чем вино и молитва.

Нас встретил высокий стройный мужчина с выражением лица, в котором спокойствие уживалось с неоспоримой харизмой. Его глубоко посаженные голубые глаза сразу видели суть, различали главное в тебе — очевидно, через танец он познал не только мастерство движения, но и природу людей. Все в нем, от свободной одежды до непринужденных движений, говорило о человеке, привыкшем к балансу между строгостью искусства и легкостью самовыражения.

— Добро пожаловать, — голос мужчины звучал спокойно, в нем ощущалась уверенность того, кто знал: чтобы быть услышанным, не нужно говорить громко. — Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы просто разучить движения, — добавил учитель, глядя прямо на меня. — Танец — это способ выразить то, что внутри. — Он на мгновение перевел взгляд на Ламару, а потом посмотрел на нас обоих. — Готовы ли вы рассказать свою историю?

Я заметил, как Ламара чуть приподняла голову, ее взгляд стал более сосредоточенным, но в нем не было ни капли сомнения. Она выглядела так, словно танец для нее был чем-то естественным, как дыхание.

— Историю? — переспросил я, пытаясь понять, что он имел в виду.

— В каждом движении вы выражаете то, кем являетесь. Все пережитое, все, что в вас — прорывается наружу. Танец — это голос вашего сердца.

Ламара кивнула, как будто все это было ей давно известно. Я же, напротив, чувствовал легкое напряжение, поймав себя на мысли, что, возможно, стоило пойти с ребятами в серные бани.

— Хорошо, — наконец сказал я, пытаясь справиться с нарастающим чувством смущения. — Попробую.

— Не думайте слишком много, — добавил учитель, не сводя с меня взгляда. — Танец не требует анализа, он требует чувства. Закройте глаза и просто двигайтесь, позвольте себе раствориться в моменте.

Он включил музыку, и зал наполнился задорным, пульсирующим ритмом аджарули. Живой, быстрый, свободный и непокорный, словно ветер, круживший среди гор.

— *Аджарули*, — начал учитель, двигаясь в такт музыке, — это история любви и грации. Это выражение уважения и гармонии между мужчиной и женщиной. — Он показал первое движение, легко скользнув по полу. Локоть ушел чуть в сторону, корпус подался вперед. — Мужчина ведет, но делает это ненавязчиво, а женщина отвечает мягкостью, в которой звучит достоинство. — Он посмотрел на Ламару и слегка приподнял подбородок — знак, который знали поколения: *танец ждет тебя.*

Ламара приняла приглашение, сделав плавный шаг вперед.

Учитель двигался точно и уверенно, переходя от одного движения к другому. Меняя темп и направление, он соединял элементы танца в единое целое, а Ламара следовала за ним с такой же легкостью. Все в ее движениях было выдержано в духе традиции: изящно и с внутренней силой.

— Теперь вы, — обратился он ко мне. — Не зацикливайтесь на шагах. Просто прочувствуйте ритм и вложите в движения свою историю.

Я сделал шаг вперед, однако поймать ритм оказалось не так-то просто для того, кто

привык к точным и резким движениям. В танце требовалась мягкость, взаимопонимание. Ламара то приближалась, то плавно отступала, играя со мной, как волна, набегающая на берег.

— Не бойтесь показать, что чувствуете. Все, что вам нужно, уже есть в вашем сердце.

Лицо Ламары засияло, а глаза заискрились весельем, и я понял, что этот танец жил в ней.

Я снова шагнул вперед, стараясь отбросить все свои прежние привычки двигаться. И на этот раз что-то изменилось. Мое тело, освободившись от внутреннего заслона, начало подчиняться музыке. Я сделал несколько движений, не думая о том, как они выглядят со стороны.

— Вот так, — сказал учитель, подбадривая меня. — Почувствуйте ритм. Позвольте ему войти в вас.

Ламара кружилась возле меня, как родниковая вода, бегущая по камням в горах, — живо и непрерывно. В какой-то момент наши взгляды пересеклись — и все сопротивление во мне исчезло. Музыка стихла, и мы все еще не отрывали друг от друга глаз. Легкий румянец разливался по щекам Ламары, а я стоял как вкопанный и, казалось, только сейчас понял, что все это время не дышал.

— Как только вы вошли сюда, я ощутил между вами тесную связь, — сказал учитель, медленно приближаясь к нам. — Это нельзя описать ничем иным, кроме как *аджарули.* Надеюсь, теперь вы поняли, что танец — это всегда история, и вы рассказали ее без единого слова.

Глава 24. Летопись Грузии

Это был последний день съемок. Дождь лил непрерывно, стуча тяжелыми каплями по кузову автобуса. Туман сплошной стеной застилал горизонт, и казалось, дорога не имеет ни начала, ни конца, пока вдалеке не начали проступать неясные очертания. Сначала — едва заметные, как призрачные тени, но с каждым мгновением они становились все более реальными.

Когда мы приблизились, перед нами предстал монумент «Летопись Грузии» — шестнадцать колонн, каждая в высоту от тридцати до тридцати пяти метров. На верхней части были изображены цари, царицы и герои Грузии, а на бронзовых камнях нижней части — сюжеты из жизни Христа.

Некоторые колонны рассказывали эпизоды из грузинской истории, сцены древних битв, героические подвиги и отрывки из народных сказаний. На других можно было увидеть эпизоды из повседневной жизни древних грузин: сбор винограда под осенним солнцем, народные праздники с танцами и песнями, людей за общим столом, окруженных детьми и стариками.

Ламара рассказывала нам об этих громадных колоннах, будто раскрывая страницы прошлого, к которому я когда-то принадлежал, но от которого был оторван.

С каждым шагом в этом внутреннем пространстве монумента я ощущал, как мои корни, словно невидимые нити, тянули меня к родине, к тому самому месту, откуда я так рано уехал. Эти нити, казавшиеся когда-то слабыми и едва заметными, вновь обрели силу с момента моего возвращения в Грузию для съемок фильма. И хоть холод пробирал до костей, что-то внутри меня горело. Было чувство, что передо мной раскрывалась не история, а сама душа моей страны, обнаженная и мощная, смотрящая на меня, как на своего давно потерянного сына, призывая вернуться на родину — вернуться по-настоящему. И в этот миг что-то во мне дрогнуло...

Годы, проведенные вдали от родины, изменили меня. Голос разума напоминал о том, что вернуться будет не так просто. Я осознавал, что потеря привычного мира и достигнутых успехов может стать значительным испытанием. Потребность сохранить то, что я построил и достиг за пределами Грузии, наталкивалась на стену опасений потерять хрупкое душевное равновесие.

Мне предстояло сделать выбор, который был не только эмоционально изматывающим, но и рационально сложным.

Неожиданно я почувствовал потребность не просто говорить, а быть услышанным. И мне захотелось доверить Ламаре все, что мучило меня. Охваченный этим порывом, я стал искать ее повсюду, обходя каждый уголок монумента и громко выкрикивая ее имя, но Ламары нигде не было. Тревога толкнула меня выбежать на открытую площадку. Ламара стояла у креста святой Нино. Этот наклонный крест с виноградной лозой был установлен там в память о крещении Грузии.

Ее глаза были закрыты, а руки сложены в молитвенном жесте. Дождевые капли намочили ее волосы и скатывались по лицу, но Ламара, казалось, не замечала этого.

Я подошел ближе и, осенив себя крестным знамением, замер рядом с ней. Мы не обращали внимания на проливной дождь, который обрушивался на нас, поглощенные этим моментом. Не выдержав, я позволил себе начать разговор, который был неизбежен.

— Знаешь, оставшись один на один с историей своей страны, я почувствовал и печаль, и радость… Печаль от того, как долго я был далек от своих корней, а радость — что нахожу

их вновь. И я бы не ощутил этого без тебя, Ламара… — Я продолжал говорить, ее глаза оставались закрытыми. — Ощущение воссоединения с родиной позволило мне понять: где бы я ни был, я всегда останусь ее частью. Это чувство приблизило меня к самому себе, и за это я благодарен…

— Ты знаешь, что делает виноградную лозу сильной? — спросила она, прежде чем я закончил говорить.

Я молчал, ожидая, что она сама ответит на свой вопрос.

— Ее корни. Они тянутся в глубь, пробираются сквозь камни, находят путь даже там, где, кажется, расти невозможно. Но если связь с корнями прервется, лоза засохнет и перестанет плодоносить.

— Если ее обрежут, она сможет дать новые побеги.

— При условии, что она найдет свою почву, — сказала Ламара, взглянув на меня. — Наша вера в Бога — это не обычная формальность, Лео. Она подразумевает возвращение к подлинной сути человека, к тому, кем мы должны быть в соответствии с Его замыслом. — Она вновь перевела взгляд на крест. — Помысел подсказывает мне: для того, чтобы найти истинный путь, нам нужно последовать примеру святой Нино. Нам необходимо понять, кто мы есть и откуда пришли. Это поможет ощутить связь с нашими предками, с теми, кто шел этим путем до нас, и увидеть, что мы — часть единого целого. Крест святой Нино из виноградной лозы стал символом, через который грузинский народ связал свою веру с культурой. Каждый шаг святой был направлен на то, чтобы не только сохранить, но и приумножить то наследие, которое было передано ей.

— Ты хочешь сказать, что без Бога мне не найти себя?

— Я хочу сказать, что без Него ты будешь блуждать в пустоте. Можно идти вперед, забывая о прошлом, но тогда дорога станет бесконечной и бесплодной.

Я знал, что в ее словах заключена истина. Я чувствовал это всюду: в каждом храме, в каждой истории, которую она открывала для меня. Все, что я видел и пережил здесь, будто врастало в мое нутро, и мне хотелось верить, что этого достаточно, дабы удержать свет, который она зажгла во мне, чтобы он не угас в дороге.

Часть 2. Ветви

Глава 25. Фильм

Я подумал, наш фильм о родине заслуживает большего, чем просто финальные титры, поэтому решил организовать вечер премьеры, где мы с командой могли бы разделить радость и гордость за дело, которое стало частью каждого из нас.

В знак благодарности за помощь я решил подарить Ламаре платье. И, чтобы порадовать ее патриотический дух, заказал наряд у известного местного дизайнера.

Сдержанное и изящное, оно было сшито из плотного благородного шелка рубинового оттенка, который переливался на свету, как молодое грузинское вино. Золотистая вышивка с традиционными орнаментами обрамляла ворот, манжеты и подол, придавая образу утонченную торжественность. На спине платье застегивалось на ряд маленьких пуговиц, каждая из которых была украшена изящным узором, отсылающим к старинным мотивам. Этот наряд был создан с уважением к национальным традициям и отражал саму суть внутреннего мира Ламары: сдержанную, но глубокую.

Я отправил подарок посылкой, приложив записку:

«Спасибо за все, что ты сделала! Пусть это платье станет небольшим напоминанием о твоей роли в этом фильме. Ты заслуживаешь всего самого лучшего, Ламара Гловели!

P. S. Я знаю, что ты не в восторге от светских мероприятий, но, надеюсь, ради нашей команды сделаешь исключение…»

Ответа от Ламары не последовало, но я верил, что она приедет, и отправил за ней машину. Гости ждали ее появления, наша команда искала ее взглядом, а я ловил себя на том, что всматриваюсь в двери с затаенной надеждой... Я уже почти отчаялся ее увидеть, как вдруг Ламара наконец шагнула в зал — с той непринужденностью, будто время было на ее стороне. Я замер, смотря как завороженный. Впрочем, не только я — взгляды всех присутствующих обратились к ней, и гул разговоров на мгновение затих — каждый ощутил, что ее присутствие наполнило этот вечер особым смыслом.

— О, нет… — выдохнул я, приблизившись к ней. — Это платье... просто кошмар!

Ламара на секунду растерялась.

Платье сидело на ней идеально: плавно струилось по плечам, подчеркивало изгибы, мягко обвивало талию. То самое платье, которое я просил сшить с такой одержимостью, будто от него зависела история всего мира.

— Ну серьезно, — продолжил я, обходя ее кругом. — Это же просто… катастрофа.

Она взглянула на меня так, как умела только она — заглядывая глубже слов, в ту точку, где заканчивается фраза и начинается намерение.

Я удержался от улыбки. Нарочно. Затем продолжил, не моргнув:

— Эта ткань… и фасон…

Ламара опустила взгляд на платье и, не поднимая глаз, тихо рассмеялась. Она была рада, что я вспомнил ее историю о бабушке. О том, что *красота может стать испытанием, если ей гордиться.*

Затем она провела ладонью по талии — не поправляя оборки, а как бы принимая этот вечер и себя в нем. И произнесла короткое, но милое спасибо. А я понял, что ничего

красивее в жизни не видел.

Мы направились к нашей команде, которая заметно оживилась при виде Ламары и окружила нас с радостными возгласами.

— Погоди-ка, а ты точно та Ламара, которая обычно предпочитает прятаться под своими шляпками? — подмигнул Купер.

— Мы уж решили, что ты нашла повод, чтобы не приходить на прощальную вечеринку! — сказал молчаливый Тамаз.

— Ну нет, ребята, я не могла оставить свою команду. Я здесь, чтобы поздравить вас с завершением съемок. Вы проделали невероятную работу!

— Без твоего вдохновляющего присутствия наш чемпион был бы как грузин без вина! — шутливо воскликнул Нико.

— Ну да, еще скажите, что без меня солнце не встает!

— А мы и не сомневаемся! — подхватил Гога. — Сегодня солнце точно взошло только благодаря тебе и этому шикарному платью!

— Ладно, ладно, уговорили, остаюсь! — улыбнулась она, и ее щеки залил румянец.

— Вот и отлично! — воскликнул я, протягивая ей бокал красного вина. — Теперь вечер точно удался! За Ламару!

Все подхватили тост, поднимая бокалы, а Ламара, слегка смущенная вниманием, подняла свой, чтобы тоже произнести несколько слов.

— Благодарю вас… Этот путь сделал нас ближе, чем могли бы сделать годы. Независимо от того, где вы родились — теперь вы часть этой истории и этой земли. Задержав взгляд на мне, она добавила: — Спасибо за то, что пригласили меня в свою банду. Это для меня много значит.

Я чуть поднял бокал и подмигнул ей в знак признательности. Этот момент был важен для меня, и, прежде чем все начнется, мне тоже хотелось сказать несколько слов:

— Друзья, я рад, что вы собрались сегодня здесь, чтобы провести с нами этот по-настоящему особенный вечер. Этот фильм для нас — больше, чем проект. Это наше признание в любви этой земле, ее истории, культуре и людям, которые вдохновляли нас на нашем пути. — Окинув взглядом команду, я добавил: — Каждый из вас — это неотъемлемая деталь, без которой картина не сложилась бы. Спасибо вам за преданность, за труд и за то, что верили в общее дело!

И отдельная благодарность тебе, Ламара Гловели, за то, что провела нас через это незабываемое путешествие. Без твоего присутствия, мудрости и любви к родной земле у фильма не было бы той глубины, той искренности, которой он наполнен. Ты — душа этой банды!

Ламара коснулась крестика на своей шее, желая мне напомнить, что все произошло по воле Всевышнего.

Я снова посмотрел на гостей и добавил:

— Пусть этот фильм не просто расскажет о Грузии, но и подарит ощущение дома, родины и того единства, которое связывает нас всех, где бы мы ни были! С этими словами я поднял бокал выше и заключил: — За нашу команду, за этот фильм и за Грузию, которая навсегда останется с нами! *Сакартвело гаумарджос!*

— *Сакартвело гаумарджос!* — воскликнули гости, поднимая свои бокалы и обмениваясь взглядами, полными радости и восхищения.

Вскоре все заняли свои места, и в зале воцарилась тишина ожидания. Свет приглушили. Экран озарился первыми кадрами, где разворачивались знакомые сцены, пейзажи Грузии, каждая деталь — от древних храмов до горных склонов, которые мы с таким трепетом стремились передать зрителям.

Сцена за сценой фильм увлекал нас, и я видел, как на лицах гостей то и дело

появлялись улыбки, слезы, трепет и восхищение. Это была история, которая жила в каждом из нас, пробуждая что-то важное, что никогда не должно быть забыто.

К концу, когда экран начал меркнуть, я встретился взглядом с Ламарой. В ее глазах стояли слезы, а на лице застыло выражение, в котором соединились радость и волнение. Она слегка кивнула мне, подтверждая, что все, что мы делали, имело свой смысл.

Глава 26. Свидание

Я рискнул позвать ее на свидание…

Конечно, на ее условиях. Их было два. Первое: она выбирает место и время. Второе: я должен был купить пакет корма для уличных животных — самый большой, какой только найдется.

Я так и сделал, предполагая, что мы отправимся в парк или, может, в приют для животных, чтобы их накормить.

Но Ламара, как всегда, превзошла мои ожидания.

Ранним октябрьским утром мы направились, можно сказать, на кладбище. Именно там, среди двух могилок — архимандрита Филарета и Вениамина, — у Богородичного предела, стены Иоанно-Богословской церкви, и проходило наше, на ее взгляд, *идеальное* свидание.

У этого места была своя, особая жизнь. Уличные кошки, которых отец Филарет подкармливал еще при жизни, по привычке приходили сюда и осторожно укладывались у его надгробия. Порой к ним присоединялись и собаки, что-то помнящие или просто чувствующие, что здесь всегда найдутся крохи тепла и еды.

— Почему ты привела меня именно сюда, Ламара? — спросил я с привычным недоумением, снова пытаясь понять ее замысел.

Она глубоко вдохнула осенний воздух и прикрыла глаза.

Я молча смотрел на нее, предчувствуя ответ…

Спустя мгновение Ламара произнесла:

— Здесь чувствуется спокойствие. Настоящая доброта.

Я огляделся: под ветвями невысоких деревьев пряталась старая скамеечка, а где-то над головой звенело птичье пение, как в детских сказках. Ламара посмотрела на меня, и я понял — объяснения не нужны. Мы будто безмолвно кивнули друг другу и сели рядом на скамью. А потом заговорили о том, что всегда оставалось между строк в наших диалогах, но никогда не произносилось вслух.

Ламара рассказывала, как однажды приютила бездомного щенка, который потом стал ее верным другом на долгие годы. Его звали Джими. Как много значит для нее природа, как она находит успокоение в лесах и горах, где можно услышать зов сердца. Как детство среди зелени и рек научило ее ценить тишину и покой. Про свои путешествия и про то, как они научили ее многому, даже если были короткими или совсем рядом с домом. Как любит находить скрытые уголки в незнакомых местах — улицы, скверы, лавочки, где можно посидеть и почувствовать себя частью нового мира. И что это место было одним из них. Она говорила о своей любви к маленьким радостям: прогулкам на закате, запаху свежего хлеба, редким поездкам к морю. Ламара сказала, что эти моменты — настоящий сундук с сокровищами, который помогает ей оставаться на плаву, когда жизнь кажется слишком сложной.

И чем больше я слушал ее, тем сильнее влюблялся. Влюблялся в ее ямочки, которые появлялись, когда она улыбалась, и в то, как эта улыбка рождалась не сразу, а будто пробивалась сквозь мысли, которые она держала в себе. Влюблялся в мимику — в приподнятую бровь, когда она сомневалась, в искру в глазах, когда говорила о том, что было ей дорого, и в ту недосказанность.

Я поделился, как в школе всегда мечтал быть бойцом и даже рисовал себе чемпионский пояс на зеркале, чтобы каждый день видеть, к чему стремлюсь. Как чуть не поджег дом в попытке приготовить праздничный семейный ужин — у меня сгорело все, что

только можно. Но зато этот вечер остался в памяти близких, которые после еще долго с любовью вспоминали, как я, совсем мальчишка, стоял посреди кухонного хаоса, гордясь даже неудачей.

Ламара слушала с таким вниманием, будто именно в этот момент видела меня настоящим.

А еще я сказал ей, что она невероятно красива. Она только слегка улыбнулась и, погладив сидящую рядом кошку, произнесла:

— Красота — это не то, что видят все, а то, что можешь увидеть ты. Увидеть сердцем.

Мы говорили о детских мечтах, о любимой еде, о традициях в семьях.

В какой-то момент Ламара сказала:

— Однажды ты оглянешься и поймешь, что рядом никого нет. Лишь то, что ты хранишь в сердце. Воспоминания. Только они будут с тобой до самого конца.

Чем больше я узнавал ее, тем сильнее мне хотелось задавать вопросы, открывать новые двери ее мира. И тогда я спросил: есть ли места, которые остались за кадром, но близки ей не меньше тех, что мы уже увидели? Не древние храмы и крепости, которые она любит всей душой, а те, где живет ее собственная история. Где она когда-то смеялась, грустила, искала ответы. *Места Ламары Гловели?*

Она улыбнулась, и в этой улыбке было что-то, что обещало мне новые истории...

Глава 27. Шоти

Мы шли по улочкам старого Тбилиси, и он раскрывался перед нами в деталях уникальной архитектуры. Над узкими улицами нависали балконы, которые напоминали сцены маленьких спектаклей: на одних пересаживали цветы, на других читали газету, а где-то махали кому-то вслед. Цветные фасады, как на старинных открытках, плавно переходили один в другой, выделяясь особыми оттенками: бирюзовые, нежно-зеленые, желтые, — и все это было обрамлено обветшалой, но все еще изящной деревянной резьбой.

Ламара иногда останавливалась то у старинной двери, то у витиеватого окна, и в этих коротких паузах я видел, что она влюблена в старый город.

— Видишь эти балконы? — кивнула она на один из них, окрашенный в выцветший коралловый, с резными столбиками и стеклянной галереей. — Все они как строки из старой книги, которую хочется перечитывать. Строки, где между буквами — запах кофе и детский смех. Некоторые балконы — как стихотворения, написанные в порыве любви. Есть балконы, что слышали юношеские признания, те, что звучат неловко, но остаются самыми искренними. И те, что слышали колыбельные, напетые в летнюю полудрему. А другие — как забытые письма, прижатые к сердцу… В одном дворе могут соседствовать несколько поколений, и каждое из них привносит что-то свое.

В отличие от гладких бетонных зданий новых районов, в узких улочках старого города все было живым и неповторимым. Идти по ним было все равно что листать страницы чужой, но до боли родной жизни. Я ловил взглядом детали — трещину в стене, старый горшок на ступенях, клетку без птицы — и все пытался понять, почему сердце сжимается именно от таких вещей… Может быть, потому что в них — правда. Не вычищенная и не идеальная, но такая настоящая.

— Эй, Ламара, сегодня город рассказывает свои истории не хуже тебя, — шутливо бросил я.

— Почему это? — буркнула она, приподняв бровь.

Наверху женщина развешивала полотенца на веревке — это было похоже на кадр из старого итальянского фильма.

— Ну, сегодня ты не *гид* по достопримечательностям Грузии, а просто Ламара Гловели, которая прогуливается по своему городу, подмечает важные мелочи, что-то вспоминает... И, может быть, даже позволяет себе немного расслабиться, а не рассказывать мне о каждом камне, который видел царь или святой, — ответил я, надеясь, что она оценит остроту моей шутки.

— Скажи-ка мне, Кипиани…

— Да-да, Гловели? — приготовился я.

— Когда ты уже научишься шутить так, чтобы и другим было смешно?

— Сейчас... читай по буквам: я-з-в-а.

— Дай знать, когда нужно смеяться, — ответила она, закатив глаза.

— А вот эту шутку ты точно оценишь… — начал я, но договорить не успел. В следующий миг что-то упало мне на голову, закрыв обзор. Я дернулся, пытаясь понять, что происходит, и услышал звонкий хохот Ламары.

— Отлично, Кипиани, — сквозь смех выдохнула она. — Кажется, судьба отвечает за тебя. И да, у нее это лучше получается!

Сдернув с лица свалившееся на меня полотенце, я едва успел поднять голову, как сверху прилетела прищепка, угодив мне прямо в лоб.

Ламара уже не сдерживалась — она хохотала так заразительно, что я, несмотря на всю свою серьезность, тоже не выдержал.

Мы смеялись так же искренне и беззаботно, как тогда, на кухне у Хвичи, — а все благодаря полотенцу, решившему напомнить мне, что жизнь иногда пишет сценарии куда изящнее, чем мои шутки.

— Я проголодался, — наконец сказал я, когда мне удалось успокоиться.

— Я знаю, куда нам надо, пойдем! — Ламара взяла меня за руку и увлекла за собой.

— Куда мы идем, Ламара? — спросил я, пытаясь поспеть за ее стремительными шагами.

— По следам аромата с соседней улицы, — бросила она, не сбавляя скорости, в ее голосе слышалась решительность.

— И что там, ресторан с мишленовскими звездами?

— Я думала, мы уже прошли этап твоего недоверия ко мне, — ответила она с притворным упреком, не оглядываясь и ускоряясь еще больше.

— Ламара-а-а! — протянул я, ощущая себя почти как на тренировке.

— Мы уже на месте! Чувствуешь этот аромат свежевыпеченного хлеба? Загляни в тот подвальчик.

— В подвал? — переспросил я ошарашенно.

— Ну да, в подвал! Что, первый раз слышишь про подвал с пятью звездами? — усмехнулась она, кивая на лестницу, ведущую вниз.

— Может, все-таки в ресторане пообедаем? — произнес я, оглядываясь по сторонам в поисках путей отступления.

— Давай, зануда, ты еще не видел подобных подвалов! — И Ламара слегка подтолкнула меня вперед.

Мы спустились по узким изношенным каменным ступеням в крохотную пекарню, спрятанную в подвальном помещении старого здания. Скрипучая дверь с облупившейся краской только подчеркивала атмосферу безвременья. Внутри царила необычайно простая обстановка: деревянный стол вдоль стены, старая лавка ручной работы и традиционная глиняная печь — *тонэ,* откуда доносился теплый обволакивающий аромат выпекавшихся *шоти*[33]. Свет проникал в подвал через маленькие оконца, его едва заметные лучи скользили по стенам, слегка касаясь пола. Жар от *тонэ* распространялся по всей пекарне, создавая ощущение приятной усталости. Пекарь, мужчина с густой бородой и спокойным умиротворенным взглядом, сосредоточенно лепил вытянутые лепешки и с ловкостью прикреплял их к горячим стенам печи.

— У него было все, что может прельстить человека: деньги, статус, успешный бизнес, но однажды он отказался от всего этого ради простоты и смирения, которые нашел здесь, в пекарне, — прошептала Ламара, прежде чем мы подошли ближе, чтобы он мог нас услышать. — Он просит, чтобы его звали не по имени, а просто пекарем. Теперь его богатство — в этих простых *шоти,* которые он выпекает каждый день, чтобы дарить людям вкус настоящего хлеба. Примечательно то, что он печет их не ради прибыли, а ради чего-то большего…

— Ради души, — закончил я.

— Именно, — с мягкой улыбкой произнесла Ламара, уловив, как в моем взгляде мелькнуло понимание того, что скрывалось за ее словами. — Можно сказать, это место стало его монастырем, а хлеб — ежедневной молитвой.

Заметив наше присутствие, пекарь поднял глаза от печи, и его лицо осветилось теплой улыбкой. Он подошел к нам, широко раскинув руки в дружелюбном приветствии, словно мы были его давними друзьями.

— Ламара, *швило*[34], — сказал он, обняв ее, а затем и меня. — Добро пожаловать!

Мы поздоровались, и он предложил нам присесть за столиком. Через мгновение перед нами оказались горячие шоти, прямиком из раскаленной тонэ. Их золотистая корочка хрустела при прикосновении. Внутри хлеб был мягким, воздушным, с легким ароматом муки и печи. Казалось, достаточно отломить кусочек, чтобы ощутить, как этот хлеб наполняет каждую клеточку теплом. Пекарь также поставил нам на стол тарелку с *сулугуни* — мягким и настолько свежим, что при каждом надломе из него сочилось молоко. Его солоноватые нотки безупречно сочетались с горячим хлебом. Трапезу дополняли мясистые спелые помидоры, разрезанные на дольки, и зеленый пучок свежего базилика. Пряный аромат последнего соединял все вкусы воедино, создавая ощущение завершенности.

— Что будете пить, родные? Налить вам лимонада *Саперави*? — спросил пекарь, взяв в руки кувшин с прохладным напитком.

— Все идеально, — сказала Ламара. — Не беспокойтесь так.

Он посмотрел на Ламару, затем на меня, словно ища подтверждения ее словам. Я кивнул в знак благодарности, поднимая стакан с напитком.

— На здоровье, *швилебо*[35]. В хлебе заключена сила земли, и нет большего удовольствия, чем разделить его с теми, кто сидит за моим столом, хоть и таким скромным. Ну, вы ешьте, не стесняйтесь, а я за работу, — сказал пекарь, подмигнув нам, и снова занялся печью.

То, как он говорил о жизни, используя образ хлеба и лимонада, казалось таким понятным и таким важным, что я поймал себя на мысли: аскеза — это не просто отказ от чего-то лишнего. Это — возвращение к тому, что всегда было самым главным.

Когда трапеза подошла к концу, Ламара первой встала из-за стола, чтобы поблагодарить пекаря.

Я присоединился к ней, держа в руках несколько купюр, чтобы заплатить за хлеб. Но пекарь отрицательно покачал головой.

— Нет, деньги здесь не нужны. Хлеб, что я пеку, — это не товар. Это дар, который я могу предложить людям. Когда вы принимаете его с душой, этого достаточно, — сказал он, протягивая Ламаре пакет со свежими *шоти*, аккуратно завернутыми в бумагу.

Ламара взяла подарок и в знак уважения поцеловала его руку.

— *Ам шотебивит тбили гулиствис, мадлоба, мама*[36], — сказала Ламара.

— *Шэинарчунэ эс ситбо*[37].

Выходя из подвальчика, я обернулся напоследок: пекарь стоял у своей печи, продолжая делать свое дело с тем же спокойствием и вниманием.

— Ты знала?

— Что он не берет денег за хлеб? Конечно знала. Но мы расплачиваемся с ним по-другому.

— По-другому?

— Он не нуждается в деньгах, ему важно, чтобы люди, которым он дает хлеб, уходили отсюда, чтобы накормить голодного, поделиться этим хлебом с тем, кто в нем нуждается. Это его способ напоминать людям, что настоящее богатство — в доброте.

Я вышел на улицу, размышляя над ее словами. Ламара, пристально взглянув на меня, заговорила снова:

— Наша плата в том, что мы не только берем хлеб для себя, мы распространяем его тепло дальше.

Я молча посмотрел ей в глаза, а она, чуть улыбнувшись, нежно взяла меня под руку, и мы медленно пошли по вечерним улочкам Тбилиси. Янтарный свет фонарей окутывал город, а старые балконы бросали длинные тени на мощеные улицы. И в этом было что-то почти волшебное.

***

— Для меня это оказалось словно встречей со святым. В жизни пекаря не было ни суеты, ни стремления к показной роскоши, ни желания что-то доказать. Все, что он делал, являлось естественным и наполненным смыслом. Он нашел утешение в малом: жаре печи, запахе свежего хлеба и в радости, которую он дарил тем, кто приходил к нему. Его жизнь не казалась бедной, наоборот, она была наполнена тем, что на самом деле имело значение. Ведь у него было все: умиротворение, уважение к своему делу и умение делиться добром с другими.

Благодаря этой встрече я понял, что, возможно, в стремлении к большему мы забываем о том, что уже имеем. И пока мы шли по улице, я чувствовал, что это знание останется со мной как напоминание о том, что в самых обыденных вещах порой скрывается истинное богатство.

Глава 28. Мандарины

Ламара сказала мне, что самые сладкие мандарины растут в Самегрело. А я в шутку ответил:

— Не поверю, пока не попробую!

Она приподняла бровь и с легкой ухмылкой на лице добавила:

— Ну что ж, это легко исправить!

Так мы и оказались на западе Грузии, в Самегрело, где каждый мандарин, по ее словам, был *«как кусочек солнца»*.

Дорога туда вилась по холмам, вдоль которых раскинулись цитрусовые рощи. Воздух был наполнен прохладной свежестью, смешиваясь с ароматом мандаринов, готовых к сбору. Ярко-оранжевые плоды резко контрастировали с инеем, покрывающим ветки деревьев и крыши домов, словно хранили остатки тепла в этом регионе.

Мы остановились у крыльца небольшого ветхого дома на окраине маленькой деревушки.

— Здесь живет одна пожилая пара, дядя Тристан и тетушка Мэри. Они всю жизнь выращивают мандарины, — почти шепотом произнесла Ламара, приглашая меня разделить с ней что-то очень личное.

— И конечно, у них самые сладкие мандарины в стране, так? — спросил я с улыбкой, подначивая ее.

— Ну, ты можешь проверить, — парировала она. — Но если вдруг они тебе не понравятся, значит, дело не в мандаринах, а в тебе. Я просто обязана буду это признать.

— Ах, вот как? — рассмеялся я. — Значит, если мандарины окажутся кислыми, в этом, должно быть, будут виноваты мои вкусовые рецепторы?

— Именно, — недрогнувшим голосом сказала Ламара. — Ну, или я просто расстроюсь, что ты не оценил их как следует, — добавила она с притворной важностью.

— Нет, этого нельзя допустить! — воскликнул я. — Они мне уже нравятся!

— Вот видишь, любовь к нашим мандаринам приходит мгновенно, Кипиани. — Ее взгляд блеснул озорным огоньком.

— Значит, мне придется признаться в любви уже на первом кусочке? — спросил я, поддразнивая ее.

— Да, ты сам не заметишь, как это произойдет. Главное, не притворяйся, что тебе понравилось, только ради меня.

Я приблизился к ней и произнес:

— Поверь, в таких вещах не притворяются...

Мы на миг замерли, глядя друг на друга. Во взгляде Ламары было то, что я сам давно носил в себе, но не решался назвать вслух. Не знаю, сколько это длилось — секунду или вечность. И только голос старушки Мэри вернул меня к реальности:

— Не стойте там, заболеете! — с добродушной улыбкой воскликнула она, приглашая войти в дом.

Мы оба, как по команде, перевели взгляды на нее и отшатнулись друг от друга, будто нас застали за воровством мандаринов из сада. Ламара рассмеялась, и я почувствовал, как волшебство момента ускользает, оставляя лишь ощущение, что между нами происходит нечто, чего не спрятать даже за смехом.

Мы вошли в небольшой дом, где все дышало заботой. В кирпичном камине мягко потрескивало пламя, отдавая ласковый жар, который обнимал нас, как тот тбилисский

пекарь. Сквозь приоткрытые форточки в дом проникал свежий зимний воздух, принося с собой легкий аромат цитрусов и дыхание гор. Контраст между прохладой снаружи и мягким теплом внутри создавал ощущение уюта, где хотелось задержаться подольше.

Дядя Тристан встретил нас радушно. В его присутствии чувствовалось что-то родное и надежное, как будто за ним стояла память предков, но он сам оставался человеком, для которого самое важное было здесь и сейчас — его дом, его семья и все, кто переступал порог этого жилища.

В углу гостиной стоял старый деревянный стол, на котором были корзина с мандаринами и домашняя выпечка. Стены увешаны черно-белыми фотографиями, хранящими целые поколения: мужчины в папахах и традиционных *чохах,* женщины в темных платках, бабушки с ласковыми глазами, деды с уставшими чертами, а между ними — беззаботный смех детей, не подозревающих, как быстро летит время.

Тетушка Мэри любезно предложила нам присесть, указав на старенькие, но крепкие стулья.

— Сейчас чай заварю, а пока попробуйте наши мандарины, — произнесла она с улыбкой.

Дядя Тристан, опершись на свою трость, молча сидел у окна, наблюдая за нами. Его взгляд таил в себе мудрость, что приходит с годами.

Я очистил мандарин и протянул Ламаре. А затем и сам попробовал дольку. «*Наверняка сейчас будет наслаждаться тем, что права*», — подумал я, вспомния наш недавний разговор. И действительно, его вкус — сладкий, но с легким намеком на кислинку, пробудил во мне давно забытые ощущения из детства. Вспомнился зимний вечер, когда я, завернувшись в одеяло, сидел на кухне у бабушки, а на столе лежали мандарины, пахнущие праздником. А еще шорох газеты, в которую были завернуты фрукты, теплый свет лампы, уютная тишина дома и чувство, что все в мире правильно и я кому-то бесконечно нужен. Этот вкус будто открыл в памяти дверь туда, где еще не было тревог, где время текло медленно, а счастье помещалось в ладонь вместе с долькой мандарина.

— Что, теперь веришь? — с довольной улыбкой спросила Ламара, прекрасно зная, какой будет мой ответ.

Эти мандарины были сладкими, но, вглядываясь в ее лицо, я вдруг понял, что речь шла не только о них.

— Да, — тихо произнес я, откусывая еще одну дольку. — Ты была права. Эти мандарины действительно невозможно не полюбить...

Мэри поставила на стол заварник с горячим напитком, от которого поднимался легкий сладковатый аромат.

— Этот чай, как и наш дом, всегда согреет того, кто пришел с открытым сердцем. Прошу вас, — предложила она, придвигая нам чашки. — Вместо заварки мы используем мандариновые дольки: заливаем их кипятком, добавляем немного меда и мяту — и вот он, свежий вкус нашего чая.

— А горячие мандариновые дольки съедаем в конце, — добавил дядя Тристан. — Попробуйте.

Мы с Ламарой осторожно взяли чашки с чаем, позволяя ему окутать нас запахом мандаринов и свежей мяты. Послевкусие было сладким, с легким привкусом меда.

Я взял ложечку, осторожно подцепил горячую дольку мандарина и съел ее. Вкус оказался знакомым и новым одновременно — как воспоминание, к которому давно не прикасался.

— Сказать по правде, такой чай можно не пить, а просто слушать, как рассказ, — произнес я с улыбкой.

Взглянув на Ламару, я увидел, что ее глаза светились благодарностью.

— Пейте на здоровье, дети! — Мэри подлила нам еще чаю. — Как говорит мой Тристан, тишина иногда больше, чем слова, — произнесла она, бросив на мужа ласковый взгляд.

Дядя Тристан спокойно кивнул, подтверждая слова жены.

— Но я долго молчать не могу! Я та еще болтушка! — тихонько рассмеялась Мэри. — Всегда что-то говорю, о чем-то рассказываю. Вот такой я человек. А вот Тристан... Он-то совсем другой. Редко когда что скажет. Все молчит, молчит, но как заговорит — так все, внимание! Его речь словно комета — появляется раз в год, зато эффектно!

— Это правда, — кивнула Ламара, подхватив разговор. — Дядя Тристан, я всегда восхищалась тем, как вы можете слушать людей, а потом сказать только одну фразу, которая все расставляет на свои места!

— Тут все просто, — сказал он, взглянув на нас. — В таких деревнях, как наша, люди живут сердцем. А сердцу, как известно, разговоры ни к чему.

— В этом, знаете ли, есть огромный плюс! Мы с ним не ссоримся, потому что он редко разговаривает! Как тут поссоришься, если ответ приходит только к следующему урожаю мандаринов? — хихикнула тетушка.

— Может, в этом и есть секрет долгого брака? Не зря же говорят, что молчание — золото, — подхватила Ламара.

— Вот-вот! — воскликнула Мэри, поднимая чашку чая. — Золотое молчание и терпение. И главное — мандарины вовремя почистить! — Она лукаво посмотрела на меня, заметив, чем я занимаюсь.

— Значит, секрет в этом? Побольше молчать, чистить мандарины — и семейная жизнь удалась? — шутливо спросил я, протягивая Ламаре очередной очищенный фрукт.

— Абсолютно, — с серьезным лицом подтвердила она. — Только так и держатся вместе, сынок: терпением и заботой друг о друге! — Затем, подмигнув нам, с озорным взглядом спросила: — И когда на свадьбу пригласите?

Ламара поперхнулась чаем.

— Нет, вы не так поняли… — пробормотала она.

Я тоже неловко начал что-то объяснять:

— Нет, мы не…

И тут дядя Тристан сказал свое слово:

— Мандарины кому попало не чистят.

В гостиной сделалось тише.

Ламара опустила взгляд и заерзала на стуле.

У меня екнуло сердце, и я попробовал отшутиться:

— Ну, подумаешь, всего-то две мандаринки…

Дядя Тристан, не меняясь в лице, уточнил:

— Восемь.

Щеки Ламары предательски порозовели, и я не смог сдержать улыбку.

— Знаете, — начала Мэри, поправляя скатерть, — секрет ведь не в мандаринах, хотя они, конечно, обладают своим волшебством. Главное, чтобы рядом был тот человек, ради которого хочется каждый день что-то делать… Она встретилась взглядом с мужем, в глазах которого читалось: эта обаятельная болтушка Мэри — и есть мой дом.

И я вдруг понял, что эти простые скромные люди обладают тем самым счастьем, которое ищут многие пары.

— Как жаль, что нам уже пора, — сказала Ламара.

— Так скоро? — огорчилась тетушка, словно провожала в дорогу родных детей.

— Нам сегодня нужно успеть заехать еще кое-куда. Но мы не прощаемся. Мы лишь говорим: до скорой встречи.

Мэри кивнула, а затем распахнула свои объятия и крепко обняла нас.

— Не забывайте тетушку Мэри, — шепнула она, чуть отстранившись, но продолжая держать Ламару за руку.

— И дядю Тристана, — добавил тот, подходя ближе, чтобы попрощаться. — Дорога всегда приводит назад, если в конце пути есть кто-то, кто ждет. — Он пристально посмотрел на меня. Я подумал, что он и есть тот самый человек, который не раз возвращался по этой дороге…

Глава 29. Люди

Пока мы шли, Ламара рассказала, что выросла здесь и знает всех соседей в лицо. Она хотела навестить стариков и передать им корзины с продуктами, которые бережно собрала заранее. Ламара подходила к каждому дому с особой любовью, тихо стучала и, когда двери открывались, встречала людей улыбкой и добрыми словами. Эти пожилые и одинокие старики с радостью принимали ее заботу, а в глазах их читалась искренняя благодарность.

Большинство тех, кого мы встречали, были беженцами, вынужденными покинуть свои дома во время войны в Абхазии в 1992 году. Многие из них были мегрелы[38], и Ламара, будучи мегрелкой, понимала их речь гораздо лучше, чем я. Она иногда бросала на меня короткий взгляд, проверяя, понимаю ли я их разговоры, и радовалось, замечая, что я улавливаю суть. А иногда — переводила пару фраз, чтобы помочь мне лучше разобраться. Хоть я и не знал мегрельского языка, мне казалось, что я чувствовал истории, которые они рассказывали, как будто они были мне знакомы с малых лет.

Эти люди жили просто, у них не было ни богатства, ни удобств — только чистое небо над головами и плодородная земля под ногами. И хоть они и не владели многим, отзывчивость их сердец чувствовалась во всем. Их руки, огрубевшие от тяжелого труда, с душой накрывали на стол. Нас угощали хлебом, испеченным на дровах, и вином из маленьких кувшинов.

— Они потеряли многое, но сохранили самое главное — достоинство.

Каждый из них, несмотря на бедность, сберег в себе любовь к своей земле и веру, которая для них является смыслом жизни, — шепнула мне Ламара.

Одной из ее близких знакомых была старушка Изольда. Ее дом стоял на краю небольшого холма, с которого открывался вид на обширные яблочные поля. Эти деревья так крепко вросли в землю, что, казалось, стали ее продолжением.

— Ламара, доченька! — радостно воскликнула Изольда, открыв нам дверь. Она слегка склонилась вперед, придерживая старенький платок на голове, и оперлась на свою палку.

— Заходите в дом, я как раз готовлю *чвиштари*[39]. Ты ведь их любишь, дочка.

— Ммм, *чвиштари* старушки Изольды! — с аппетитом произнесла Ламара, улыбнувшись, словно ребенок. — Их просто грех не попробовать!

Старушка усадила меня за стол, пока Ламара ловко выкладывала из банки соленья. Изольда заботливо расставила на столе тарелки, щедро уставив его домашней едой, и села напротив. Ламара опустилась на стул рядом с ней и нежно накрыла ее ладонь своей, поддерживая старушку в воспоминаниях, которыми она с нами делилась.

Изольда вспоминала, как из-за войны в Абхазии им пришлось в спешке уходить из своих домов, бросая сады, особо ценные для сердца вещи и даже фотографии, что хранили память о прошлом. Запах свежих *чвиштари* и горячих *купати*[40] витал по комнате, приглушая, но не избавляя до конца от всей боли потерь и лишений.

— Мы оставили дома, но не потеряли корни, — сказала она, устремив взгляд к яблоням, что ровными рядами тянулись к горизонту. — Порой я думаю: может, наш самобытный дух крепче, чем мы сами. Ведь мы продолжаем жить, даже когда нас прогоняют с родной земли. — После, взглянув на нас с любовью, добавила: — Это и есть чувство родины. То, что остается с нами навсегда, где бы мы ни были.

Я вновь задумался: слово *родина* не ограничивалось одними лишь стенами и крышей. Это не то, что можно потерять, уехав. Это то, что невозможно оставить, потому что оно — всегда с тобой. То, что впиталось в сердце с первых шагов. Это голос матери, зовущей тебя

к столу. И это голос, шепчущий твое имя, когда ты вдали…

Мы еще долго сидели за столом, слушая воспоминания о прошлом, о людях, которые, несмотря на все невзгоды, продолжали жить, любить и надеяться.

Когда настало время прощаться, старушка Изольда проводила нас до двери.

— Приходите еще, — сказала она, обнимая нас напоследок. — Мой дом всегда открыт для вас.

— Обязательно придем, — ответила Ламара, обнимая в ответ ее хрупкие плечи.

Мы вышли и направились к машине, готовясь к возвращению в Тбилиси. Но что-то во мне не отпускало. Я чувствовал: в Ламаре было больше, чем казалось — как луч, пробивающийся сквозь ветви, она одновременно освещала и ускользала. Мне хотелось понять, что скрывается за ее светом и тенью, что прячется в этих тихих паузах между словами, что она прячет в глубине души и что делает ее такой сильной и уязвимой одновременно. Хотелось узнать о ее тайнах и мечтах, о каждой утрате и радости, о каждом человеке, оставившем след в сердце.

Когда она протянула руку к дверце машины, я мягко задержал ее ладонь и сказал:

— Поведай мне историю своего детства, *ламазо*…

Прежде чем заговорить, она взглянула в мои глаза, затем вдаль, где золотились деревья и рощи в предзакатном солнце.

— Я была еще ребенком, когда началась война в Абхазии… Наш дом стоял недалеко от леса... Помню силу отцовских рук, которые подбрасывали меня в воздух... Потом все изменилось…

Война пришла внезапно, как буря, сметая все на своем пути. Отец ушел сражаться, и больше мы его не видели… — В ее голосе слышалась затаившаяся боль. — Мама собрала нас за одну ночь, — просто взяла меня на руки и ушла из дома. Мы шли, не разбирая дороги, только бы подальше от обстрелов, от разрухи… и от всего, что было нашим домом. — Ламара сплела пальцы, будто она снова ощущала страх и пустоту тех дней. — Мама несла меня на руках через леса и горы, когда силы покидали ее, садилась и просто обнимала, чтобы согреть…

Она сделала паузу в надежде спрятать дрожь в голосе, и немного погодя все же продолжила:

— Мы пришли в эту деревушку с пустыми руками и разбитыми сердцами. Люди здесь приютили нас, дали уголок, поделились тем, что имели. Мама бралась за любую работу, лишь бы у нас было место, которое можно было бы назвать домом. Я видела, как ей было тяжело, как она возвращалась поздно вечером, усталая, порой совсем без сил. Как она доедала за мной остатки еды. — Глаза Ламары наполнились слезами, которые она привыкла сдерживать. — Но каждый раз она смотрела на меня с улыбкой. Как будто ей было важно только одно — чтобы я чувствовала себя дома. И я чувствовала. Мой дом был в ее улыбке, в усталых руках, которые всегда находили силы обнять меня, в глазах, полных надежды, даже когда эта надежда была призрачной…

— Посмотри на меня, — тихо, но твердо сказал я, осторожно взяв ее руки в свои. — Если тебе нужно поплакать, я всегда рядом, и мое плечо здесь для тебя. Но ты должна знать, каждый раз, когда ты грустишь, ты лишаешь меня родины. Потому что она теперь в твоей улыбке, Ламара Гловели.

Ламара взглянула на меня, ее взгляд был полон растерянности и удивления. Но затем слегка улыбнулась.

— Я услышал о той части твоей жизни, где была тьма. Теперь расскажи мне о свете. О том свете, который отражается в этом нежном изгибе твоих губ, что стали мне домом.

Ее глаза мягко засияли, словно в них пробудилось желание раскрыть тайну, которую она хранила так глубоко, что узнать ее было суждено одному-единственному человеку. И в

миг, когда она взяла меня за руку, моему сердцу открылось — этим человеком был я.

— Нам придется немного пройтись, — сказала она, глядя на меня так, будто за этим предложением скрывалась целая история.

— Хоть на край света, — сказал я в ответ.

Ламара кивнула, и мы направились к ее прошлому, туда, где стоял дом, в котором она росла.

Глава 30. Бэбо

Мы прошли через старый мост, и перед нами открылся вид на маленькие домики с покосившимися заборами и низкими крышами. За ними тянулись крохотные сады, укрытые в глубине фундуковых деревьев.

— Здесь прошло мое детство, — произнесла Ламара, глядя вдаль, словно перед ней разворачивался целый мир воспоминаний. — Я босиком бегала по этим тропинкам, помогала бабушке собирать орехи. Когда-то это было мое все.

— Покажи мне, *ламазо*… — прошептал я и протянул руку.

Ламара взяла ее и прошла вперед, легко касаясь листьев и веток, будто хотела вновь почувствовать связь с этим местом. Когда мы подошли к колодцу, она отворила створки и осторожно заглянула в его темную бездну.

— Мне было семь, и я очень боялась темноты… Однажды на закате *бэбо* попросила меня принести воды. Помню, как я опустила ведерко, прислушиваясь к его погружению в воду. Когда оно, наконец, наполнилось, я встала на носочки и медленно начала тянуть его вверх. Вдруг коза, которая паслась в огороде, неожиданно подошла и боднула меня сзади. Я не удержалась, рухнула прямо в колодец, но в последний момент успела вцепиться в веревку и повисла на ней вместе с ведром. Ледяная вода тут же пробрала меня до самых костей. Окутанная ужасом, я боялась шевельнуться, словно мое малейшее движение могло разбудить что-то чудовищное, скрытое в этой тьме. Я начала звать *бэбо*, но мои крики будто скрадывались темнотой, оставляя меня во всепоглощающем страхе. Казалось, мрак тот был вечен и безжалостен, в нем не было ничего, кроме жуткой пустоты. В какой-то момент я начала ощущать, что сама стала ее частью — неразличимой и всеми забытой. Чувство одиночества сковало мое сердце. Снаружи не доносилось ни единого звука — я слышала только собственное дыхание, дробное и неровное, отдающееся эхом в том холодном склепе. *Никто не услышит меня*, думала я, пока безмолвно тонула…

Не знаю, сколько времени прошло, но когда я в очередной раз подняла голову, то обнаружила над колодцем безмятежное звездное небо.

В мерцающем свете далеких звезд мне вспомнилась молитва моей *бэбо*, которую она произносила каждый вечер перед сном. Засыпая рядом, я слушала ее голос, который окутывал меня, как невидимая броня, защищая от ночных кошмаров.

И тогда впервые я обратилась к Богу, тихо произнося слова этой молитвы:

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Голос мой дрожал, но на сердце вдруг стало тепло и спокойно, словно *бэбо* была рядом. И в этот миг произошло чудо, которое способна сотворить лишь искренняя, чистая вера, так хорошо знакомая детскому сердцу. Тьма вокруг начала растворяться, уступая место свету…

Тот свет не был похож ни на лунный, ни даже на солнечный — ничто не могло сравниться с ним, и я никогда прежде не видела подобного сияния. Это было нечто иное, неизмеримо прекрасное. Свет разливался вокруг, освещая каждый камень, каждую каплю воды в этом колодце. Обволакивая и утешая, он казался знакомым и вечным, словно всегда был рядом, но только теперь я смогла его ощутить.

Вдруг ведро, за которое я цеплялась, резко дернулось вверх, и я услышала

встревоженный голос *бэбо:*

— Ламара! — кричала она.

Слезы радости навернулись мне на глаза, и я закричала:

— *Бэбо-о-о*! Я зде-е-есь! Зде-е-есь!

Бэбо ухватилась за ворот и медленно начала поднимать ведро, а я цеплялась за его края, чувствуя, как ее голос становился все ближе. Наконец дрожащими руками она обхватила мои плечи и рывком притянула к себе. Мы крепко обнялись и плакали, но это были слезы радости, сквозь которые слышался ее шепот, полный нежности:

— Слава Богу, милая, ты здесь, ты со мной. Теперь все будет хорошо. — В ее голосе чувствовалась сила молитвы, которая оберегала меня в холодной тьме…

Ламара на мгновение закрыла глаза, прислушиваясь к далекому эху из прошлого.

— После того случая я старалась удержать в памяти ее успокаивающий меня голос: «*Квелапери каргад икнеба, сакхварэло*»[41].

Ламара открыла глаза и, устремив взгляд в небо, добавила:

— Я снова и снова повторяла эти слова про себя, боясь, что однажды они исчезнут, растворятся во времени. Этот голос был последней опорой, за которую я держалась, будто он мог спасти меня от одиночества, которое я чувствовала после ее ухода в монастырь.

— В монастырь?

— Да, это произошло, когда мама еще была жива…

— Но что случилось? — осторожно спросил я.

Ламара на мгновение задержала дыхание, собираясь с силами.

— Мы заехали в тоннель… Через несколько секунд произошел обвал. Позже писали, что этого уже давно следовало ожидать. Грунт проседал, а поддерживающие конструкции ослабли, но никто не обратил на это внимания, пока не стало слишком поздно.

Пальцы Ламары подрагивали, пока она говорила. Казалось, тело выдавало то, что голос старался удержать в себе.

— Обрушение началось внезапно. Я помню этот глухой треск, будто сама земля разверзлась. Все произошло за считаные секунды — камни посыпались с потолка, стало нечем дышать от пыли, мы ничего не видели. Потом… тоннель обрушился между мной и мамой. Меня вытащили, потому что я оказалась по ту сторону завала. А маму… Маму не успели…

Она опустила глаза, но вскоре собралась, не позволяя себе утонуть в воспоминаниях.

— С тех пор я не выношу замкнутых пространств и толпы. Я начинаю задыхаться, мне кажется, что стены сужаются и все возвращается — камни, пыль, безысходность…

Ламара ненадолго замолчала. — После этого я жила с *бэбо* в женском монастыре. Потом, когда поступила в университет, переехала в студенческий кампус.

— Возможно, у меня не такой теплый голос, как у твоей милой *бэбо,* — произнес я с шутливой улыбкой, пытаясь подбодрить ее. — Но я здесь… и так будет всегда, пока ты этого хочешь.

— Звучит как обещание, — сказала Ламара, внимательно глядя на меня. Я не отвел взгляда.

— Потому что это и есть обещание.

— Обещания… — прошептала она. — Они легко слетают с губ, но их так тяжело сдержать.

Я медленно выдохнул, чувствуя вес этих слов.

— Знаю… Но это не значит, что я не попробую.

Ламара чуть заметно улыбнулась, будто впервые позволила себе поверить.

— Тогда помни свои слова, Кипиани, — произнесла она, протянув мне свою ладонь, словно скрепляя то, что уже нельзя было взять обратно. — Потому что я их запомню.

Я без колебаний сжал ее ладонь.

— Запоминай, Гловели. Потому что я не скажу этого дважды.

***

Отец Лонгин снова погрузился в себя, как если бы тяжесть вины неотступно давила на него. Он опустил голову и сжал пальцы на четках. Губы шевельнулись, но слов не было — только еле заметное движение, будто внутри него поднялась волна, которой он не позволял прорваться наружу. Это было то единственное, с чем он так и не смог примириться — со своим отсутствием в ее жизни.

Глава 31. Детский дом

Ламара не сказала, куда мы направимся, но попросила одеться по-простому. Мы выехали около восьми утра и отправились в неизвестном мне направлении. По пути остановились у кондитерской. Ламара вышла из машины и через несколько минут вернулась с несколькими коробками со сладостями. Нашим таинственным грузом, источавшим восхитительный аромат свежей выпечки, оказались пирожные. Я помог ей уложить их в салон, спрашивая, кто те сладкоежки, которым все это достанется. Но Ламара продолжала хранить молчание.

Мы снова отправились в дорогу. Постепенно, по мере того как улицы сменялись одна за другой, в душе начало зарождаться подозрение, но я уже не задавал вопросов. Примерно спустя час впереди замаячил силуэт старого здания, и я наконец понял, куда мы приехали. Это был детский дом…

Когда мы вошли, я нес коробки с пирожными, а Ламару сразу окружили дети — они подбежали к ней с радостными криками, стремясь обнять ее. Каждый ребенок тянул к ней руки, как к магниту, излучавшему радость. Ее глаза были наполнены бесконечной любовью, которую она беззаветно дарила тем, кто оказывался рядом. Ламара доставала угощения и раздавала их одному за другим. Один мальчик, младше остальных, нерешительно стоял в стороне, поглядывая на корзину, но не подходил. Заметив это, Ламара наклонилась к нему, заглянула в глаза и, не говоря ни слова, протянула пирожное, будто знала, что именно он любит. Мальчик взял угощение, осторожно, как сокровище, и его лицо озарилось такой светлой искренней улыбкой, что у меня внутри что-то дрогнуло.

В этот момент я понял: Ламара не просто раздавала сладости — она дарила детям то, чего им, быть может, больше всего не хватало — чувство заботы и значимости.

После того как все вдоволь наелись, она предложила детям поиграть. Это вызвало еще больший энтузиазм, они только и ждали возможности продолжить праздник. Я не был тем, кто умеет легко находить общий язык с детьми, да и играть с ними мне всегда казалось делом непростым. Поэтому я остался в стороне, у стены, наблюдая за их весельем. Но вдруг один из малышей, узнав меня, вскрикнул:

— Ты — Гора! Чемпион! Это Гора! Гора!

Вскоре все взгляды в комнате были прикованы ко мне. Дети окружили меня, словно рой пчел: кто-то тянул за рукав, кто-то заглядывал в лицо снизу вверх с таким восхищением, будто перед ним стоял не человек, а сказочный великан.

— А ты правда дрался с настоящими монстрами? — спросил мальчик с торчащими вихрами.

— Тебя били по лицу? — громко выпалил другой.

— А ты побьешься с нами? — раздалось с другого конца комнаты.

Они пытались устроить ринг, водили круги, назначали судей и комментаторов. Кто-то размахивал карандашом, как микрофоном, кто-то считал секунды до «нокаута». Я не сразу понял, как оказался в центре игры, но их восторг был таким искренним, что я невольно заразился этой детской непосредственностью.

К вечеру, когда пришло время прощаться, первый шаг к объятию сделала маленькая девочка с тонкими косичками. Она робко взяла меня за руку и, набираясь смелости, сказала:

— Ты настоящий герой, как в телевизоре, но гораздо симпатичнее. — Я улыбнулся ей в ответ и наклонился, чтоб обнять, но маленькие руки опередили меня, крепко обвив мою

шею. За ней потянулись и остальные дети.

Один мальчик, которого я заприметил среди самых застенчивых, протянул Ламаре свою любимую игрушку и тихо произнес:

— Ты ведь еще вернешься, да?

Ламара нежно прижала его к себе и, погладив по голове, ответила:

— Конечно, ведь мы одна семья.

Затем он повернулся ко мне и, немного смущаясь, спросил:

— Вы будете еще нашим другом, правда?

Я присел на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне, и внимательно посмотрел ему в глаза. В них светилась надежда и легкое волнение, как будто его мир зависел от моего ответа.

— Конечно буду, — уверенно произнес я, протянув мальчику ладонь для дружеского рукопожатия. Его узкие пальчики сжали мою руку с неожиданной силой, а на лице появилась широкая улыбка.

Затем двое мальчиков постарше подарили мне самодельный кубок из картона, на котором большими буквами было написано «Лучший чемпион». Они с гордостью вручили мне этот трофей, и я поднял его высоко над головой. Комната наполнилась смехом и аплодисментами, дети с радостью поддержали мой импровизированный триумф. Этот кубок, сделанный из бумаги, казался мне дороже всех наград, которые я когда-либо получал.

Ламара каждому говорила что-то доброе и обнадеживающее. Ее слова были простыми, но в них заключалось столько искренней заботы, что каждый ребенок чувствовал себя особенным.

Когда мы вышли из здания, дети все еще стояли у дверей, провожая нас взглядами, полными искренней любви и легкой грусти. Их глаза следили за каждым нашим движением, пока мы не скрылись за горизонтом, оставив их с теплыми воспоминаниями и надеждой на будущие встречи.

Как только мы завернули за угол, Ламара резко остановила машину и вышла из нее.

— Не мог бы ты сесть за руль, пожалуйста? — нервно произнесла она.

— Конечно, — ответил я, быстро пересаживаясь на водительское место. — Ты в порядке? — спросил я обеспокоенно.

— Да, дай мне минуту, — сказала она, направляясь к лесной опушке.

Я вышел из машины, намереваясь последовать за ней, но Ламара подняла руку, останавливая меня. Я понял, что ей нужно побыть одной, и потому остался стоять у обочины, наблюдая, как ее силуэт постепенно растворяется среди деревьев.

Через мгновение я услышал пронзительный крик, который заставил меня мчаться к ней без колебаний. Когда я нашел ее, она сидела на коленях, сжав крест на шее, словно ища в нем утешение. Ее дыхание было сбивчивым, она пыталась сдержать новый крик, который напоминал вопль, рожденный глубокой, невыносимой болью. Казалось, вся ее душа сжималась от внутренней муки.

В тот момент любое слово звучало бы фальшиво, поэтому я молча обнял ее, позволяя выплакать всю горесть. Через некоторое время ее дыхание выровнялось, она медленно поднялась и протянула мне руку. Ее взгляд говорил*: я справлюсь.*

Я кивнул, давая понять, что всегда готов разделить с ней это исцеляющее молчание. А затем, не отпуская ее ладони, вывел из леса.

По дороге домой начался проливной дождь, Ламара погрузилась в глубокий сон, а я — в раздумья. В тот день она открылась мне с еще одной стороны.

***

— Ламара обладала редким даром — превращать свою боль в безграничную поддержку для тех, кто в этом нуждался. Она не могла вынести того, что стариков бросают, а бездомных животных убивают просто потому, что они никому не нужны, что равнодушие стало нормой. А детские сердца были ее ахиллесовой пятой — самой уязвимой частью души, которую она берегла больше всего. Она несла в себе чужую боль так, будто это была ее собственная, пропуская ее через себя, пока наконец ей не становилось слишком тяжело.

Ей нужен был кто-то, в чьих объятиях она могла бы сделать вдох. Кто-то, рядом с кем ее душа могла бы хоть ненадолго отдохнуть, набраться сил, чтобы снова согревать сердца людей.

Жаль, что тогда я так и не понял, как сильно она нуждалась в моем плече...

Не потому, что была слабой. А потому, что в этом мире ей просто не хватало воздуха…

На лицо отца Лонгина легла тень печали.

— Но, должно быть, вы видели ее иначе... Какой она была для вас, отец?

В его глазах появилась неизбывная печаль — взгляд человека, который слишком поздно увидел то, что было очевидным.

— Я смотрел на нее так, как смотрят на огонь — греешься, но не думаешь, откуда он берется и сколько сил уходит на то, чтобы гореть. Я… — Он на секунду замолчал, словно слова, которые он хотел сказать, не давались ему легко. — Я не увидел швов…

— Возможно, потому что Ламара не позволяла им проявиться. Вы видели ее свет, ее стойкость — потому что она хотела, чтобы вы запомнили именно это.

Он слегка подался вперед, будто желая подчеркнуть важность своих слов, его голос звучал почти как исповедь.

— В тот день, когда мы поднялись в Нарикала, Ламара сказала мне: *«Крепость стоит, потому что кто-то когда-то решил, что она нужна городу, даже если ее стены будут трещать и рушиться. Крепость — это не камни. Это то, что остается с тобой, когда больше ничего не держит».*

Ей нужен был друг, Саба. Такой, как Нарикала для Тбилиси… И Ламара видела его во мне…

Я невольно опустил глаза, проникнувшись его словами.

— Знаете, дети — самые верные болельщики, — продолжил он с особой теплотой в голосе. — Именно от одного из них я и получил свое прозвище.

— Как это было?

— В моем первом бою, когда я одержал победу, детский голос с трибун выкрикнул «Гора!» И в тот же миг присутствующие подхватили этот клич: «Гора! Гора! Гора!» — скандировали они. Я пытался отыскать того ребенка глазами, чтобы поднять на свои плечи и разделить с ним радость победы на ринге, но его голос растворился в шуме, оставив мне только это имя, которое после стало частью меня.

— …В тот день ему исполнилось восемь лет, и отец взял его на бой двух гигантов — Рамира Сахиди и Лео Кипиани.

Во взгляде отца Лонгина мелькнул свет.

Я продолжил:

— Когда мальчик увидел Лео Кипиани на ринге, его ошеломила несокрушимая стойкость духа этого бойца. Каждое его движение напоминало горный водопад — бурный и необузданный, и в то же время Кипиани демонстрировал такой уровень самоконтроля, что, казалось, он олицетворял саму суть борьбы — сосредоточенность и непоколебимость. В момент, когда Кипиани одолел своего соперника, мальчик будто увидел перед собой вершину горы, нависающую над равниной. Вдохновленный этим зрелищем, он, не раздумывая, выкрикнул: «Гора!» В этот день Лео Кипиани стал для него не только Горой, он стал его героем.

— Саба, это был ты, мой мальчик…— произнес он, прослезившись.

Затем, в едином порыве отец Лонгин встал, наклонился, обхватив меня за бедра и, прежде чем я успел среагировать, одним мощным движением поднял со стула, усадив на свое правое плечо. Его рука крепко удерживала меня за спину, не давая вырваться. Движения были уверенными и быстрыми, словно он заранее предвидел, что я буду сопротивляться, но его сила и решительность не дали мне ни единого шанса.

— Отец! Прошу вас, отец! Мне давно не восемь! — воскликнул я, пытаясь убедить его отпустить меня. Но вместо этого он взял мою руку и поднял ее вверх, словно мы были в октагоне, где мне на самом деле было восемь. Затем отец Лонгин твердо произнес:

— Если здесь и есть герой, то это ты, Саба! Ты тот, кто прошел тернистый путь, чтобы добраться до Горы. — Он мягко опустил меня на землю и крепко обнял.

— Вы навсегда останетесь моим героем, воплощением силы, стойкости, а теперь еще и духовной мудрости.

— Ты воспринимаешь меня таким потому, что в тебе самом есть все то, что ты видишь во мне. Этим ты напоминаешь мне Ламару, которая умела разглядеть величие даже там, где другие видели лишь груду камней.

Сказав это, отец Лонгин направился к иконе Божией Матери, «Защитнице сирых и брошенных». С благоговением он зажег свечу перед ее образом, читая молитву о детях. Пламя огонька отражалось в его глазах, в которых можно было увидеть смиренное ожидание утешения.

Глава 32. Бой

Мне пришло известие о бое в Америке, и в одно мгновение все перевернулось.

Этот бой был важен — для моей карьеры, репутации, для пути, который я строил годами. Нужно было уезжать, возвращаться к тренировкам, полностью сосредоточиться на подготовке. И теперь мне предстояло сказать об этом Ламаре…

Я посмотрел на нее, ощущая, как внутри поднимается горький ком.

— Мне нужно уехать, *ламазо*...

Она не отвела взгляда, но в ее глазах появилось что-то новое — не осуждение, не обида, скорее… понимание, вперемешку с каким-то щемящим чувством, которое мне было больно видеть.

— Когда?

— Через месяц.

Она кивнула, на секунду опустив глаза.

— Значит, так должно быть, — спокойно произнесла Ламара.

Я не знал, что еще сказать. После того разговора между нами словно пролегла осязаемая стена. Я поднялся в горы, чтобы готовиться к бою, оставаясь наедине с собой. И я… сделал все, чтобы отстраниться от нее…

***

— Но почему, отец Лонгин?

— Нечто в Ламаре притягивало меня с такой силой, что я испугался собственной уязвимости. Я думал, если ее кроткий и светлый образ поселится в моей голове, он погасит тот огонь, который всегда горел во мне в октагоне, и эта ярость, эта злость, поднимающаяся из глубин во время боя, просто исчезнет. Я не мог позволить себе пойти дальше. Что-то во мне уже было связано с ней — крепче, чем я бы того хотел. Но мысль о том, чтобы поддаться этому полностью, пугала. Казалось, стоит мне сделать шаг навстречу, и я утону — потеряю равновесие, отдам контроль. А впереди меня ждала защита титула — я хотел оставаться сосредоточенным, холодным, непоколебимым.

Я тогда еще не понимал, что истинная сила — не в том, чтобы сдерживать чувства, а в том, чтобы быть достаточно смелым, чтобы ими жить. Потому что, когда любишь, это не делает тебя слабым. Это делает тебя целым.

— А что потом?

— Бой с тенью, в котором я заведомо проигрывал самому себе, где каждый мой удар лишь усиливал ощущение неизбежного поражения.

Я ошибочно верил, если мы с Ламарой на время перестанем видеться, если я смогу ограничить свой мир тренировками и самоконтролем, то мой яростный настрой останется неизменным. Я знал, что этот бой будет непростым, и был убежден, что мне нужно отключиться от всего, что могло бы помешать. Я заблокировал в себе ее образ, и даже ее улыбку, которая всегда так помогала мне снять напряжение.

— А что Ламара?

— Она была рефери в этой борьбе. Уверен, она все понимала, но не подавала виду, будто это ее не ранило.

***

Там, на склонах, где туманные рассветы скрывали горизонт, я начинал каждый день с пробежки, поднимаясь по крутым подъемам и каменистым тропам. Воздух был чист и холоден, он наполнял легкие и прояснял мысли, в такие моменты мне казалось, вот-вот обернусь — и увижу Ламару, идущую за мной по тропе.

Днем я отрабатывал удары на старом мешке, подвешенном между деревьями и покачивающимся на ветру. Я концентрировался на движениях и стойках, но едва только позволял себе отвлечься, ее слова о смирении и спокойствии тут же всплывали в моей голове. Они становились вызовом, мешая сосредоточиться на агрессии и жесткости — тех качествах, которые были мне так привычны в бою.

В ночной тишине, когда ветер обдувал горы и треск костра заполнял пространство вокруг, я думал о том, что она говорила — *смысл победы не в том, чтобы доказать что-то миру или самому себе, а в том, чтобы выйти из битвы другим, не таким, каким ты был в начале.* Эти слова звучали отголосками, сопровождающими каждый удар, каждый шаг по крутым тропам. Я осознавал, что эта тренировка была не только для тела, но и для ума, и что я не могу полностью разорвать связь с Ламарой, как бы ни пытался.

Спустившись с гор после трех месяцев тренировок, я чувствовал, как тело налилось силой, а мышцы отзывались на каждое движение привычной болью. Я знал, что физически готов. Но мне не было покоя. Слишком много мыслей в голове, и все они тянули меня к ее дому.

Я сам не заметил, как оказался у ее двери. Сердце билось сильнее, чем после спарринга на высоте. Я поднял руку, чтобы постучать, но так и не коснулся двери. Мне казалось, если я увижу ее сейчас — весь мой настрой, вся моя неприступная для чувств стена, что я выстроил за эти месяцы, рухнет в один миг. Ее взгляд, ее улыбка — они могут свалить меня быстрее самого сильного удара в октагоне.

Постояв немного у ее крыльца, я все же вернулся в машину, уткнулся лбом в руль и долго не мог завести двигатель. Я говорил себе, что должен удержать свою бурю — даже если она тянула меня обратно, к ней...

Наконец я уехал.

В октагоне я дрался как обычно — быстро, уверенно, без колебаний, держа соперника в напряжении, заставляя его отступать, защищаться. Каждый удар был точен и выверен, я вел бой к финалу, не оставляя противнику ни малейшего шанса на ответный выпад. В какой-то момент я поймал его на мощном ударе в корпус. Он пошатнулся, потерял равновесие и рухнул на пол. Толпа взревела, а я, как и всегда, рванулся добивать его, решительно настроенный закончить бой. Я наклонился над ним, но, когда занес кулак, в моей голове неожиданно прозвучал голос Ламары: *смирение...* Шум арены вдруг стих. Я будто видел ее взгляд, полный спокойствия, ощущал ее присутствие, и это… остановило меня. Сделав шаг назад, я дал сопернику шанс подняться. Он попытался встать, но остался лежать, уже не в силах снова вступить в бой. Рефери поднял мою руку в знак победы. Я стоял молча, понимая, что победу одержал не я, а та часть моей души, которую затронули слова Ламары.

Аплодисменты, вспышки камер, крики поддержки — все это разрывалось вокруг громкими хлопками, но единственное, чего мне по-настоящему хотелось, — это увидеть ее, тот взгляд, в котором было бы не восхищение победой, а что-то более глубокое, теплое. Я знал, что Ламары нет среди зрителей, но мои глаза все равно скользили по лицам, словно она могла появиться на трибунах. И вот, когда я осознал, что она далеко, за океаном, я почувствовал себя опустошенным. Триумф, громкие поздравления — все это отошло на задний план.

В тот же вечер, не раздумывая, я купил билет до Тбилиси. С разбитым лицом, но с непоколебимой решимостью я отправился туда, где, как я надеялся, меня действительно

ждет настоящая победа — рядом с ней. В ее глазах и улыбке, ради которой я готов был преодолеть океан.

Глава 33. Мост Мира

Когда самолет приземлился в Тбилиси, я почувствовал, как в груди вспыхнуло тревожное ожидание, которое разгоняло усталость и боль от недавнего поединка. Я тут же поймал такси и назвал ее адрес, не зная, как пройдет наша встреча. И все же я ехал — потому что не мог иначе.

Я вышел из такси, и ледяной воздух города пробрал меня до костей, но это было неважно. Каждый шаг к ее дому казался бесконечно долгим, как будто я снова проходил все эти месяцы борьбы, шаг за шагом приближаясь к ней. Я остановился перед дверью, задержав дыхание. В голове пронеслись наши разговоры, ее слова, ее смех…

На этот раз я не мешкал и сразу же постучал.

За дверью послышались легкие шаги, и на миг мне показалось, что время замедлилось. Дверь приоткрылась, и… ее глаза, они выражали столько чувств, что я не знал, как вместить их в себя все сразу.

На секунду она застыла, всматриваясь в мое лицо, изучая следы, оставшиеся после боя. В ее взгляде была и тоска, и боль — тень времени, проведенного порознь. Но за этим я заметил нежность и мягкое сияние, которые она берегла для меня, как теплый свет лампы, оставленный в окне, чтобы путник знал — о нем помнят.

Я стоял молча, а она все смотрела на меня, словно нашла то, что давно потеряла. Моя рука невольно дернулась, и я осторожно коснулся ее лица, ощущая тепло кончиками пальцев. Она не отвернулась, не отстранилась — просто продолжала смотреть. Я шепнул ее имя, и в ответ она едва заметно улыбнулась. В этот миг я понял, что все мои слова о победах, обо всем, что я искал в своей жизни, ничего не значили по сравнению с ее присутствием здесь и сейчас.

— Здравствуй, *ламазо*…

Она не сразу ответила. На ее лице застыла такая глубокая печаль, что я подумал — вот сейчас она захлопнет передо мной дверь, возведет между нами стену, через которую мне никогда не пробиться.

Но Ламара все же заговорила:

— Здравствуй…

Такое простое слово, а в нем — все, что я хотел услышать: как будто она не только приветствовала меня, но и вернула нас туда, где не было ни времени, ни расстояний.

Не сдерживая больше тоски, я притянул ее к себе и вдохнул знакомый аромат шелковистых волос. Но Ламара стояла неподвижно, ее руки были опущены, и эта отстраненность разрывала меня изнутри.

— Прошу, Ламара, — прошептал я, нежно гладя ее волосы, — давай, *ламазо*… не лишай меня родины снова…

Сказав это, я почувствовал, как ее дыхание изменилось, стало частым, прерывистым. Она медленно обвила мои плечи руками, как будто преодолела существующую между нами преграду. И наконец крепко прижалась ко мне, это объятие ощущалось как глубокий вдох после долгого пути.

— Вот так… Мы дома… — прошептал я. Ничего больше не имело значения: только ее руки, держась за которые, я понял, что вернулся туда, где меня ждут. — Давай, собирайся, мы уходим…

— Куда?

— Просто доверься мне, — ответил я, протягивая ладонь.

Ламара приняла ее, мягко сжав пальцы в знак согласия, и мы молча сели в такси.

Всю дорогу мы не проронили ни слова. Единственное, что говорило за нас, это наши руки, переплетенные в бережном касании. И с каждым километром оно становилось все крепче. Приближаясь к месту назначения, я попросил ее закрыть глаза. Она, слегка смущенная, прикрыла веки. Я вышел из такси и, обойдя машину, протянул ей руку, поддерживая ее, пока мы шли туда, где хотелось ощутить этот момент до конца. Когда мы остановились, я наклонился к ее уху и прошептал:

— Ты можешь открыть глаза…

Ее ресницы дрогнули, взгляд скользнул по ночному Тбилиси, залитому желтыми огнями. Все вокруг будто затаило дыхание в ожидании того, что давно зрело в тишине между нами.

— Мост Мира, — сказала она, наконец встретившись со мной взглядом. — Ты выбрал место с особым смыслом... Как будто хотел вернуть что-то важное...

Я слегка пожал плечами.

— Ты права. Я и вправду надеялся вернуть что-то, что является очень важной частью моего мира, веря, что символ этого места пробудит ее — твою улыбку.

Наконец ее губы тронула тень улыбки, как если бы она слегка приоткрыла дверцу своей души.

— Ты правда летел за этим?

— Да, — ответил я, не отводя взгляда. — И прилетел бы вновь.

Ламара выдохнула — как будто больше не могла сдерживать свои чувства.

— Но сколько ты собираешься перелетать океаны? Пока не надоест?

Я опустил голову, стараясь собраться с мыслями, в надежде найти ответ, который мог бы ее утешить.

— Я не знаю… Я хотел бы сказать что-то, что согреет тебе сердце, но…

— Зачем ты здесь? Зачем ты прилетел?

Я вздохнул.

— Я просто хотел увидеть тебя… Твои глаза, твою улыбку… Хотел знать, что у тебя все хорошо. Разве этого недостаточно?

Она отвела взгляд и теперь смотрела куда-то вдаль, за мост, за воду, за границы этого разговора.

— Мне недостаточно знать, что ты появишься, чтобы потом снова исчезнуть. Я не хочу быть точкой на твоем маршруте, Лео.

— Ламара… — начал я, но она лишь покачала головой.

— Ты говоришь, что тебе достаточно просто видеть меня. Но ты когда-нибудь задумывался, что мне этого может быть недостаточно?

Я не знал, что ответить.

— Ты появляешься, потом исчезаешь. Я не знаю, когда ты снова перелетишь этот океан. Я не знаю, насколько долго ты останешься и когда снова уйдешь.

Она вздохнула, и в ее взгляде появилась та самая грусть, которую я так боялся увидеть.

— Я не вещь, которую можно время от времени доставать из чемодана воспоминаний. Я человек, у которого есть сердце, и оно может болеть.

— Ты хочешь, чтобы я остался? Ты к этому ведешь?

В ее глазах не было ни требований, ни ожиданий — только правда.

— Я хочу знать, что, если я закрою глаза, ты все еще будешь здесь, когда я их открою…

Сказав это, она закрыла глаза.

А я застыл.

Внутри все сжалось. Мне казалось, что я должен что-то сделать, сказать или

дотронуться до ее руки — но я не мог. Я словно стоял на краю моста, глядя в бездну, и знал, что один шаг изменит все, но ноги не двигались.

Эти слова — «*У меня тоже есть сердце, и оно может болеть*» — прозвучали в моей голове как предостережение. *Что, если я вырву себя из привычного мне мира и останусь, если подарю ей надежду на счастье, а потом не смогу ее оправдать… что тогда?* Я чувствовал, как во мне поднимается страх. Глубокий и парализующий. Страх, что я не справлюсь. Что в какой-то момент разочарую ее. Слова застряли комом в горле. Внутри все дрожало, рушилось, горело.

Я смотрел на Ламару, видел, что она ждет, как доверчиво стоит передо мной…

***

— И что вы сделали, отец Лонгин? — спросил я, хотя уже знал ответ. Но, будто надеясь, что мой вопрос может что-то изменить, все же озвучил его.

Монах долго молчал. Вероятно, снова проживал тот момент, снова стоял там, на мосту, где был сделан выбор… или не сделан.

Затем с непосильным трудом, будто каждое слово резало изнутри, он произнес:

— Я сделал шаг назад… После еще один… И еще… — Его голос был ровным, но за этой ровностью скрывалась пропасть. — Она не открывала глаза...

Он посмотрел на меня с болью, с которой жил все эти годы, и произнес:

— А потом… я просто ушел и больше никогда ее не видел…

Часть 3. Плоды

Глава 34. Зов родины

Прошел год после того, как я вернулся в Америку.

Год.

Триста шестьдесят пять дней, в которые я пытался убедить себя, что все сделал правильно. Что если не слышать ее голос, не видеть ее глаз, не касаться ее ладони даже в мыслях — все пройдет. Что если достаточно долго молчать, то она забудет. Я говорил себе, что время расставит все по местам, а расстояние сделает свое дело. Но чем дольше длилось молчание между нами, тем сильнее я чувствовал ее присутствие.

Я ловил себя на том, что подолгу смотрю на экран телефона, набирая сообщения, которые так и не отправлял: «*Как ты?*» — стирал. «*Я скучаю…*» — стирал. «*Прости…*» — стирал.

Иногда я писал длинные сбивчивые тексты, в которых пытался объяснить что-то. А что — сам толком не понимал. Но в конце их ждала одна и та же участь — кнопка *«Удалить»*.

Я боялся. Боялся ее ответа. Что она скажет: *«Почему ты пишешь мне только сейчас?»* Или хуже — не скажет ничего.

Я пытался жить дальше. Дни проходили за тренировками, делами, разговорами — все как прежде. Но не было ее. И эта пустота становилась с каждым днем все ощутимее. Я засыпал и просыпался с ее именем на губах. Вокруг меня было полно людей, но я никогда не чувствовал себя таким одиноким. Я прокручивал в голове ее голос, ее смех, ее слова. Разговоры с ней все еще жили внутри меня, я мысленно задавал ей вопросы и додумывал ее ответы. Я ловил ее образ в утреннем свете, ощущал ее присутствие в запахе мандаринов.

Каждый раз, сидя за столом с друзьями, я улыбался, смеялся, делал вид, что все в порядке. Но внутри меня зияла пустота. Смех застревал в горле и звучал фальшиво. Я мог поддерживать разговор, мог слушать, мог отвечать, но не мог избавиться от чувства, что нахожусь далеко отсюда. Я знал, что, если позволю себе набрать ее номер, если услышу, как она произносит мое имя, если снова увижу в ее глазах что-то, что принадлежало только мне, — я пойму, что без нее все, что я называл привычной жизнью, на самом деле окажется лишь иллюзией.

Потом случился бой, в котором я впервые был сражен. Меня увезли на скорой — тяжелый удар, потеря сознания. Я очнулся спустя три дня. Первое, что я сделал, — потянулся за телефоном. Экран тут же заполнился десятками сообщений и пропущенных звонков. Я пролистывал их, не вчитываясь, пока не наткнулся на одно:

«Скажи, ты в порядке? Ламара…»

Я перечитал его несколько раз.

Я хотел позвонить ей, хотел услышать ее голос, сказать, что со мной все хорошо, чтобы она не беспокоилась. Но я еще был не в состоянии связно говорить — голова гудела, мысли путались.

Через два дня стало легче. Я мог позвонить ей. Но я этого не сделал. То ли из-за головной боли, то ли из-за неустанного контроля врачей, то ли попросту оттого, что не знал, что сказать.

Так прошло еще несколько дней.

А потом я понял, что снова сделал то, что делал всегда — оставил ее ждать…

Наконец, я дотянулся до телефона и ответил ей:

«Я в порядке, ламазо. Надеюсь, ты тоже...»

Я посмотрел на экран, перечитал сообщение, пытаясь уловить, достаточно ли тепла в этих словах, чтобы она поверила: мое молчание не значило равнодушие. Но что бы я ни написал, этого все равно было бы мало. Я нажал «*отправить*» и отложил телефон. Я даже не спросил, как она…

Возможно, она ждала этого вопроса. Ждала, чтобы, как раньше, рассказать мне о своем дне, о том, что тревожит или радует, поделиться своими мыслями. Ждала, чтобы почувствовать, что мне не все равно. Может быть, этот вопрос… он…

***

Отец Лонгин прервался. Он будто споткнулся о собственные чувства, о воспоминание, которое вдруг оказалось невыносимым.

***

Через пару дней меня выписали. И в какой-то момент я перестал сопротивляться и снова потянулся к телефону. Не потому, что ждал ее ответа. Не потому, что надеялся ее вернуть. А потому, что тишина между нами стала оглушающей.

Я набрал короткий текст:

«*Как ты, Ламара?*»

Я нажал «*отправить*» и задержал взгляд на ее имени.

Ждал. Минуту. Час. День. Ответа не последовало.

Раздался стук в дверь.

Я открыл ее — передо мной стоял Гога. Я кивнул ему, поприветствовал легким ударом плеча, но он не двигался, словно врос в пол.

— Чего ты застыл? Заходи, — сказал я, отступая в сторону и жестом приглашая его внутрь.

Он вошел, но на нем не было лица.

— Ты еще не знаешь… — сказал он, глядя на меня, словно убеждаясь в чем-то сам.

Я нахмурился.

— Чего? Купер женится? — усмехнулся я, пытаясь разрядить странную тишину.

Гога провел ладонями по лицу, сжав их у висков, будто собирался с силами, потом глубоко выдохнул и медленно опустился в кресло.

— Нет, брат… — Он наконец поднял на меня глаза, и в его взгляде не было ни капли шутки или задора. Я видел, как он готовился сообщить мне нечто, что непросто выговорить, но не знал, как это сделать.

— Ну, говори уже, пока тяжесть этого молчания тебя не раздавила и ты не превратился из помидора в кетчуп, — попытался пошутить я.

Но Гога не улыбнулся. Он смотрел на меня. Глаза его были усталые, опустошенные. А потом он произнес всего три слова:

— Ее больше нет...

В комнате стало тихо, казалось, все звуки мира исчезли.

Я не сразу понял, что он сказал. Или, может, не сразу позволил себе понять.

— Что?

Гога не ответил. Только медленно покачал головой, и этого движения хватило, чтобы земля подо мной треснула.

— Что ты несешь, Гога?! — взорвался я и, прежде чем осознал, что делаю, схватил его

за горло и рывком поднял с кресла.

Гога не сопротивлялся. Он с жалостью смотрел на меня. Глаза у него были полны боли, но не страха.

— Брат… — прохрипел он, пытаясь вдохнуть.

Я видел в его взгляде то, что разрушало меня.

Правду.

Мои пальцы разжались. Он рухнул обратно в кресло, судорожно втягивая воздух. Я отступил от него нетвердым шагом.

— Нет… — Покачал я головой, надеясь, что сказанное окажется ошибкой, а не приговором. — Нет…

Мой мир перевернулся. Стал другим… Миром, в котором ее больше не было…

Я слышал, как Гога что-то говорил, но слова доходили до меня с трудом, как после нокаута. Я моргнул, пытаясь вырваться из этой пугающей, затягивающей тишины. Но она не отпускала. Потому что тишина та была настоящей.

— Брат… через два дня похороны. Нам надо лететь в Грузию. Нам нужно проститься с ней…

Голос Гоги донесся до меня издалека, пробившись сквозь стеклянную стену, за которой я оказался.

Проститься...

Это слово легло в меня, как камень, которому некуда было упасть. Мой мозг сработал, как неисправный механизм, который, чтобы защитить себя от перегрузки, просто выключает часть системы. Все происходило будто не со мной. Я не помню, как взял куртку. Как вышел за дверь, как сел в машину. Я слышал Гогу, который пытался привести меня в чувство, видел, как он разговаривает со мной, как ведет меня куда-то. Я же просто следовал за ним, будто робот.

Сидя в самолете и смотря в иллюминатор, я слышал шум двигателей, но не слышал. Знал, куда мы летим, но мой разум еще не позволял мне осознать, зачем. Я был уверен только в одном: если позволю себе задуматься, если позволю себе почувствовать, то уже не смогу подняться с этого кресла.

Глава 35. Пустошь

Мы с Гогой сделали пересадку и добрались до Тбилиси.

Я не помню, как пересекли границу, не помню разговоров, лиц людей вокруг. Все было размыто, будто фон на фотографии, где в фокусе только одно — мысль, которую я старался не допускать в сознание.

В аэропорту мы сразу же пересели в машину. Город проносился за окном — знакомый, родной, но я смотрел на него так, будто видел впервые. Я не чувствовал ничего, кроме пустоты внутри.

Мы успели к похоронам. Людей на кладбище уже было много. Среди собравшихся я заметил тех, кого мы встречали в поездках во время съемок фильма, многих увидел впервые, но в каждом взгляде читалось одно и то же — память о ней, боль утраты и бесконечная печаль.

Проститься с Ламарой пришли коллеги, с которыми она работала, те, кто знал ее доброту и бесконечную преданность делу. Кто хранил ее работы у себя дома, в сердцах, вешал на стены.

Там были и старики, которые, опираясь на трости, стояли чуть в стороне, утирая слезы дрожащими руками.

Пожилой священник, который благословил ее, когда она однажды, вдохновленная старинными иконами, сидела в углу монастыря и аккуратно зарисовывала полустертые лики святых.

Художник, чья мастерская располагалась в узком переулке старого Тбилиси, тот, которому она сказала: «*У вас особенный талант — писать свет, а не просто красками*».

Владельцы маленьких кафе, где она могла сидеть часами, задумчиво проводя пальцем по краю чашки, погруженная в размышления.

Дедушка, которого она рисовала однажды в дождливый день, сказав, что в его взгляде — вся история наших предков.

Даже уличные животные, которых кормила Ламара, тихо сидели чуть поодаль, ближе к ее гробу, словно понимая, что ждут кого-то, кто больше не вернется…

Радовало, что не было детей — что жизнь уберегла их от этого прощания, от той тяжести, которая давила на плечи взрослых.

Я вдруг почувствовал, что кто-то положил руку мне на плечо. Обернувшись, увидел ребят из съемочной группы: Купера, Нико, Тамаза. Все те, с кем мы когда-то смеялись, спорили, ночами монтировали кадры, пытались успеть за Ламарой, пока она рассказывала свои истории. Они молчали, но их взгляды были проникновеннее слов. Нико сжал мою руку, Тамаз чуть кивнул. Купер обнял меня, за ним потянулись и остальные. Я спросил Гогу, почему не вижу среди присутствующих Хвичу. Он вздохнул и тихо ответил:

— Старик не дожил до своего столетия…

Полностью опустошенный, я молча опустил голову. Ламара была той, кто всегда имела, что сказать, и теперь, когда ее не стало, казалось, что и слов больше не осталось.

Но вскоре пришло время для надгробной речи. Все, кто знал Ламару лично, и те, кто лишь однажды встретил ее, но запомнил, подходили к могиле и клали цветы. Кто-то делился воспоминаниями, а кто-то просто молчал…

Один из них был ее коллега по мастерской. Он осторожно выступил вперед.

— Ламара не искала внимания и не стремилась к славе, — начал он уверенно. — Она всегда предпочитала оставаться в тени своих картин, с редким упорством избегая

публичности. Я помню, как она уходила в сторону, как только имя Ламары Гловели начинало привлекать внимание журналистов — ее невозможно было заставить говорить о себе. Она позволяла своим работам говорить за нее. И в этом было ее величие.

Он посмотрел на людей, собравшихся вокруг, задержал взгляд на картинах, которые они принесли в память о ней, и добавил:

— Ее искусство существовало вне рамок и оценок, оно было искренним и полным того света, который она носила в себе. Это одна из множества причин, почему о ней будут помнить...

В какой-то момент я обратился к Гоге:

— Как это случилось?

— Автокатастрофа, — выдавил он. — Подростки взяли машину у отца без спроса и…

Я молча смотрел на Гогу, а он — на меня. Мы понимали, что ничего уже не изменить. Что в этой истории не было злого умысла. Это были всего лишь дети. Глупые, беспечные, уверенные, что впереди у них целая жизнь, что ничего плохого не случится… Но случилось.

Вдруг назвали мое имя, предложив сказать несколько слов. Я знал, что этот момент наступит, но все равно оказался к нему не готов. Как будто, выразив соболезнования, я окончательно признал, что ее больше нет.

Я продолжал стоять на месте. Люди ждали моей речи. Я посмотрел на землю под ногами, на камень, на венки и цветы, на серое небо, нависшее над кладбищем, и шагнул вперед.

— Ламара… — голос сорвался, но я заставил себя продолжить: — Ламара была человеком, которого невозможно описать словами. Кто знал ее — поймет, что я имею в виду, а кто не знал, тот, пожалуй, потерял одну из самых светлых встреч в своей жизни…

Мне было невыносимо горько произносить ее имя вслух. Я ощущал, как с каждым звуком еще раз подтверждал то, что отказывался принимать. Горло сжало, воздух стал вязким, и даже дыхание требовало от меня усилий. Но я не мог позволить себе замолчать, не мог просто остановиться.

— В Ламаре было что-то недоступное нам, что-то, что притягивало, как магнит, словно она была загадкой, которую дано было разгадать немногим…

Перед глазами вспыхнули воспоминания: ее улыбка, легкий наклон головы, когда она прислушивалась к словам собеседника, или как закрывала глаза, когда перекрещивалась.

Я запнулся, осознавая, как мало знаю о самых простых, обыденных вещах из ее жизни. После посмотрел на собравшихся и с затаенной горечью произнес:

— На самом деле, я так и не узнал Ламару… Я не знаю, что бы она выбрала к десерту — чай или кофе. Если чай, то каким бы он был: крепким, насыщенным черным или мягким, зеленым? Если кофе — тягучий, без сахара, или нежный, с добавлением сливок? Я не знаю, какую мелодию она ставила фоном, когда ее кисть касалась холста. Была ли это скрипка с пронзительными нотами или тихий рояль, подыгрывающий ее тайным мыслям? Или, может быть, она предпочитала тишину? Я не знаю, о чем она думала, когда смотрела вдаль, и почему ее глаза бывали иногда так полны тоски…

В этот миг что-то внутри меня оборвалось. Я не мог говорить дальше. Но, помолчав несколько мгновений, я все же заставил себя закончить прощальную речь:

— Но я точно знаю, что она не любила громких слов, и говорила так, что ее слушали. Она не пыталась кого-то изменить, но рядом с ней люди становились лучше.

Сказав это, я замер, а вместе со мной — и все все вокруг.

Тишина…

И в этой тишине чувствовалось присутствие Ламары.

Я сделал шаг назад, уступая место следующему, кто хотел поделиться

воспоминаниями, но никто сразу не заговорил. Кто-то тихо всхлипнул, кто-то сжал в руках цветы. Гога похлопал меня по плечу, Тамаз чуть кивнул, будто говоря: *ты справился.*

Я смотрел в небо. Тяжелое, серое, но сквозь него пробивался свет, едва уловимый, настоящий. Я подумал, что, возможно, Ламара действительно не ушла. Она была в сердцах тех, кто принес сюда ее память. Она стала воспоминанием и жила внутри каждого из нас…

После похорон я не мог найти себе места. Бродил по улицам, ища ее среди теней, среди света фонарей, среди отражений на мокром асфальте. Будто если свернуть в нужный переулок, она вдруг могла оказаться рядом.

Я прошел мимо кофейни, где мы когда-то сидели. Там она рассказывала мне, что грузины называют этот город *Тбили*, что значит «теплый». Я вспомнил, как она говорила:

— Этот город дышит. Надо только замедлиться, чтобы услышать его.

Я замедлился и стал слышать ее голос.

— Видишь этот дом? Его фасад покрыт трещинами, но если присмотреться, он все еще прекрасен…

Я видел.

— А здесь жил человек, который рисовал солнце так, будто оно горело внутри него…

Я помнил.

— А этот балкон? Ты бы мог догадаться, что здесь когда-то шептались влюбленные?

Я мог.

Я останавливался там, где останавливалась она. Оглядывался, ловил воздух, надеясь, что он хранит ее дыхание. Но город был молчалив. Я понял: я не искал Ламару. Я искал ее тень. Но она никогда не была тенью. Она была светом. И этот свет, хоть я и не мог его коснуться, все еще жил в этих улицах, в каждой истории, которую она когда-то рассказывала. И, наверное, во мне тоже.

В какой-то момент я открыл двери храма — даже не обратил внимания, какого именно, просто вошел туда, и вдруг пространство слилось с воспоминанием. Меня накрыло ощущение, будто я снова оказался в Бодбе, — как в тот день с Ламарой, когда она говорила о смерти.

Свеча дрожала, отбрасывая тени на стены, а я просто стоял в этой тишине, слыша ее слова, звучащие в моей голове:

«Мы всего лишь гости здесь...»

«Никто из нас не избежит этого…»

«Важно не бояться этой двери, а войти в нее с миром...»

«Жить так, чтобы смело уйти, когда придет время...»

«— Мы не можем ничего взять с собой, но мы можем кое-что оставить после себя.

— И что, по-твоему, мы можем оставить этому миру, Гловели?

— Тепло. Тепло в сердцах других....»

Я закрыл глаза и прошептал ее имя — словно надеясь, что она ответит. Но отозвался лишь глухой полумрак. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха, что этот город — ее город — вдруг стал для меня тесным. Я остановился на углу, оперся ладонями о колени, пытаясь дышать глубже, но это не помогало. Сердце стучало сдавленно. Мне захотелось уехать подальше отсюда.

Я поймал такси, сел на заднее сиденье и бросил взгляд на знакомые улицы. Когда-то они были для меня новыми и полными историй, а теперь стали похожи на страницы книги, которую я не мог больше читать.

— Кахетия, — сказал я водителю.

Тот кивнул, даже не уточняя.

И вот уже Тбилиси остался позади, растворяясь в свете фонарей и мутных отражений в окнах. Я откинул голову, закрыл глаза. Впереди меня ждала долгая дорога…

Глава 36. Жажда

Я приехал на виноградник и уже с первых минут понял — здесь больше нет жизни. Все, что когда-то дышало солнцем, теперь угасло.

Я медленно прошел меж рядов, чувствуя, как увядшая трава шуршит под ногами. Я смотрел на виноградник так, будто глядел в зеркало. Все, что я чувствовал, наяву предстало перед моими глазами в скрученных, иссохших лозах, в потрескавшейся земле, в пожухлых листьях, дрожащих на ветру и цепляющихся за прошлое. Когда-то лозы здесь тянулись вверх, к солнцу, питались водой, ждали весну. Когда-то и я жил, чувствовал, наполнялся смыслом. Но этот виноградник засох. Как и я.

Дверь в дом Хвичи была приоткрыта и покачивалась от ветра. Я переступил порог — и словно вошел в утро, которое не наступило. Все оставалось на своих местах — как будто Хвича вышел всего минуту назад: кружка на камине, шапка, натянутая на спинку стула, ножи, висевшие на стене. И вдруг мне почудился звонкий смех Ламары, доносящийся из кухни. Я метнулся туда, а там ни души, лишь занавеска, покачивающаяся на сквозняке.

Но я все равно видел их: Хвичу, переворачивающего *мчади* у плиты, Ламару, ловко перебирающую зелень. Как они вместе раскладывали хлеб и неспешно разливали вино по чашам. Слышал, как они говорят, спорят, смеются, смотрел, как Ламара вытирает руки о льняное полотенце, как Хвича говорит, что *грузинский стол без тостов — все равно что лоза без солнца.*

Но все это было когда-то…

Я вернулся в гостиную и направился к столу. Он стоял на своем месте, но уже казался другим. Я провел по нему рукой, вспоминая, как когда-то здесь стояли тарелки с домашним сыром и свежеиспеченным *мчади*, пахло вином и специями. Я опустился на стул и, закрыв глаза, снова услышал голос Хвичи:

«Плохое гхвино скрывается в бокале, хорошее — в беседе».

Я видел, как он поднимает бокал, как Ламара смотрит на него с улыбкой, как хохочет Гога, наклоняя голову.

«За друзей, за семью, за тех, кто сейчас с нами… и за тех, кого с нами уже нет».

Я открыл глаза. Передо мной был только голый пыльный стол.

И тогда я запел:

Ту асэ турпа икави,
Рад вер гамчневди, ламазо?
Имад ром сикварулиствис
Гули ар гамигиао.[42]

Мне казалось, что если я спою достаточно искренне, то время свернется петлей, и я снова увижу их здесь — увижу, как Хвича сидит во главе стола, покачивая бокалом, слушает меня с тем самым прищуром, в котором было столько тепла, и кивает, будто говоря: *«Вот так, Кипиани, пой, пой, пока живешь».* А Ламара… Ламара улыбается, будто знает что-то важное, что-то, что мне еще только предстоит узнать...

Допев строчку, я замолчал. Все рухнуло в одно мгновение. Я не просто осознал, что ее больше нет, я почувствовал ее отсутствие кожей, каждой клеточкой, каждым вдохом. Это была не мысль, не понимание — это было холодное, нестерпимое, парализующее ощущение неизбежного краха. Оно обрушилось на меня, заполняя собой все пространство. Меня пронзила резкая боль — не острая, нет, более коварная, разливающаяся по венам и артериям, впивающаяся в ребра, в горло, в пальцы. Как будто я вдохнул морозный воздух,

который нестерпимо жег легкие. Грудь сдавило так, что я не мог даже пошевелиться, не мог вытолкнуть из себя ни звука — он будто застрял в горле комом боли, который невозможно ни проглотить, ни разорвать дыханием. Стул подо мной качнулся, и я рухнул на пол, задыхаясь. Пальцы судорожно сжались в кулаки, ногти вонзились в ладони, но это не помогло. Будто кто-то медленно загонял под кожу длинные иглы. Все внутри меня рвалось, выворачивалось, а я не мог ничего с этим сделать. Я пытался вдохнуть, но воздух казался тяжелым, как свинец. Во мне не осталось ни одной живой точки — только это безжалостное, неотступное чувство потери.

Я не знал, сколько времени пролежал на полу, задыхаясь от боли, будто выброшенный морем.

Где-то далеко раздались шаги. Торопливые, беспокойные.

— Лео… — Голос был приглушенным, будто пробивался сквозь толщу воды.

— Лео! — раздалось громче.

Я почувствовал, как кто-то приподнял меня, помогая сесть. Я сделал резкий вдох, который с трудом наполнял легкие, как если бы я только что вынырнул из замерзшего озера.

— Ты нас слышишь? — прозвучал голос Нико.

Я кивнул.

— Да у тебя озноб! — Гога коснулся моей руки. — Что ты творишь, брат?!

— Мы тебя обыскались, — добавил Нико, поднося мне бутылку с водой, его взгляд был полон беспокойства.

Я взял бутылку, но пальцы дрожали, и крышка выскользнула из рук, покатившись по полу. Нико, не сказав ни слова, помог мне сделать глоток, поднося бутылку ко рту.

— Черт, Лео… — Тяжело выдохнул Купер. — Ты хоть понимаешь, как ты выглядишь?

— Вы… как меня нашли?

— Думали, где ты можешь быть. И поняли, что ты не мог не вернуться сюда после того, как узнал о старике Хвиче, — сказал Тамаз.

Я закрыл глаза. Конечно. Конечно, они знали.

Купер сжал мое плечо.

— Мы здесь, чемпион.

— Ты приехал сюда один, зная, что найдешь здесь только пустоту? — обеспокоенно спросил Тамаз.

Я посмотрел на него.

— Ты бы не приехал?

Он понимающе кивнул.

В комнате повисло молчание. Его нарушали только звуки старого дома и дыхание людей, которые знали, что им не подобрать слов, чтобы унять мое горе.

— Давай, пойдем, — произнес наконец Гога. — Здесь слишком холодно!

Я хотел сказать, что не чувствую холода, что уже ничего не может сделать больнее, чем есть. Но я лишь молча кивнул. Они помогли мне подняться. И когда я вышел за порог, я понял, что больше туда не вернусь.

Глава 37. Исповедь

Прошло три года. Три года без нее. Говорят, время лечит, но оно не вылечило меня. Оно просто растянуло мою боль, раскинуло ее по дням и ночам, сделало частью моего дыхания.

Я вернулся в Америку, потому что так было нужно. Потому что так делали люди, у которых есть карьера, контракты, обязательства. Я действовал по инерции: выходил на ринг, дрался, давал интервью, подписывал бумаги. Все продолжалось, как раньше, но я был опустошен.

Я пытался заглушить эту пустоту. Заполнял ее шумом: тренировками, интервью, случайными разговорами. Но бездна безразличия была терпеливой. Она ждала меня в утреннем кофе, который я продолжал заказывать, даже если забывал его выпить, в музыке, которую я выключал после первых нот, в фотографиях, которые не мог разглядывать слишком долго. Но сильнее всего она чувствовалась в том, что никто не произносил мое имя так, как Ламара.

Однажды я вернулся в свой гостиничный номер после боя и, переступив порог, понял, что не хочу включать свет. Что боюсь увидеть в зеркале то, что там осталось от меня. Той ночью я не спал. А утром купил билет в один конец.

Я вернулся в Грузию. Не помню, как оказался здесь, у ворот монастыря. Я остановился на мгновение, всматриваясь в них, словно ждал, что Всевышний сам решит, впустить меня или нет. Ворота оказались открыты. И я вошел внутрь.

Передо мной предстали строгие каменные стены монастыря — они будто звали меня к себе: мягко, терпеливо, как зовет дорога того, кто слишком долго блуждал. Здесь не было суеты. Только монахи, неспешно проходящие мимо, и безмолвие, наполненное благодатью.

Я толкнул тяжелую дверь храма и сразу услышал молитвенное пение — служба уже шла. Пространство было наполнено ровным голосом иеромонаха и запахом ладана. Я встал у стены, дожидаясь окончания.

Когда служба завершилась, я подошел ближе и, встретившись взглядом со священником, попросил принять исповедь. Тот кивнул. Я встал на колени перед аналоем и опустил голову. Сердце грохотало в груди так, будто кто-то стучал в двери храма изнутри. Все, что я знал, — мне нужно было найти хоть какой-то путь наружу, щель света в этом внутреннем мраке.

Иеромонах ждал.

— *Мамао*[43]… — наконец сорвался мой голос. — Я совершил много ошибок: я ушел, когда должен был остаться… молчал, когда должен был говорить… откладывал то, что было важным, на потом... Я… я потерял человека, которого любил. И я не был рядом, когда ей это было нужно… Я все время боялся. Боялся признать, что мне было страшно. Боялся, что не справлюсь. Боялся, что причиню ей боль… И в итоге причинил… Я думал, что смогу оправдать себя. Что она меня простила бы. Но я не могу простить себя сам…

— Господь судит по нашим намерениям, ибо Он сердцеведец.

По намерениям… А какие они были у меня? Я стиснул пальцы.

— Что, если я верил, что действую во благо, но мои действия все разрушили?

— Намерение — это как дорога. Мы можем думать, что идем верным путем, но если мы шаг за шагом уходим в сторону, то и конечная точка окажется не той, куда мы стремились. Нужно осознать, где ты свернул не туда. А главное — почему.

Я невольно сжал кулаки.

— А если исправлять уже нечего? Если единственное, что остается, — это сожаление?

— Исправление — это не всегда возможность вернуть все назад. Если ты осознал свои ошибки, то, возможно, они были не напрасны. Ты можешь либо тащить эту боль за собой, как камень, либо сделать так, чтобы она привела тебя к чему-то важному.

— Я хочу… хочу, чтобы боль ушла. Но мне кажется, если она исчезнет, то и Ламара исчезнет вместе с ней.

— Любовь не исчезает. Даже через боль. Она живет, если мы носим ее в себе.

Я закрыл глаза, позволив этим словам проникнуть в свою душу. Вдруг мне показалось, что тишина в храме стала не такой суровой. Как будто кто-то услышал меня.

Иеромонах положил епитрахиль мне на голову и начал читать разрешительную молитву, которая звучала как ключ. Когда он закончил, внутри меня что-то щелкнуло — будто дверь отворилась, впуская долгожданное облегчение.

— Иди с миром, чадо, — сказал он. Но я не двинулся с места. Я хотел запомнить это ощущение просвета — словно в душе расступились тучи и появилась надежда. Но вместе с ним пришло и другое осознание — я не мог уйти. Я не мог снова погрузиться в шум, который так долго заглушал мой внутренний голос.

Здесь мне не нужно было бороться с пустотой, заполнять ее словами, бессмысленными действиями. Впервые за долгое время тишина не давила. Я прислушался к ней, и в этом безмолвии вдруг ощутил присутствие Ламары. Не призрак, не воспоминание, — а саму ее суть, ту невидимую часть, что всегда была рядом, даже когда я не осознавал этого.

Я остался, пребывая в послушании у отца Георгия, который исповедовал меня.

Наутро, выйдя во двор, я увидел привычный монастырский распорядок: один из послушников чинил крышу, другой кормил птиц, третий подметал дорожки. Также я заметил проходящего мимо отца Георгия. Ничего не сказав, он лишь посмотрел на меня, чуть склонил голову в знак приветствия и пошел дальше, как будто с самого начала знал, что я никуда не уйду.

Я взял в руки метлу и провел ею по каменной плитке, словно выметая из себя все ненужное и очищая путь для того, что неизбежно должно было стать моей дорогой…

Глава 38. Служение

В келью отца Лонгина постучали.

— Саба, тебе нужно поесть. Ступай.

— Я не голоден.

— Ты почти не ел с тех пор, как мы начали эту беседу, — напомнил он.

— Как и вы, отец, — заметил я.

Стук повторился. Я подошел к двери и, не открывая ее, тихо произнес:

— Мы воздержимся от пищи. Благодарю вас, брат.

— Для меня это привычное дело, пост — это образ жизни монаха. А тебе следует поесть, если не в трапезной, то хотя бы здесь, — строго сказал отец Лонгин, указывая взглядом на тарелку с сухарями и несколькими помидорами.

— Хорошо, — смиренно произнес я и съел два сухаря и один овощ. — Никогда бы не подумал, что этим можно так насытиться. — Как так получается, отец?

— «*Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*»[44]. Беседуя, мы прерывались на молитву — время молитвы насыщает душу, а духовное насыщение может превосходить физическое. Поэтому ты сыт, — пояснил он.

Я задумался о том, что с первого дня пребывания в монастыре узнаю важные истины из уст отца Лонгина, и просветлел от этой мысли. Затем я произнес благодарственную молитву, читаемую после вкушения пищи, и он продолжил свой рассказ…

***

— Я думал, что после исповеди все закончится, что дальше наступит покой. Но это было только начало.

Первые десять лет в монастыре я выходил на самый сложный бой — бой с самим собой. И октагон на этот раз был внутри меня.

Больше всего я страдал от гордыни. Она была как крепко сжатый кулак — непоколебима. Отец Георгий видел это во мне с самого начала. Он не говорил слов утешения, не пытался объяснить, как себя вести, не убеждал. Он знал: гордыня не уходит через разговоры, ее не сломить увещеваниями. Она рушится только через любовь и послушание.

Каждое утро отец Георгий поручал мне самые простые задания: мести двор, чистить котлы, колоть дрова. Но я ненавидел это. Я не осознавал, насколько крепко во мне засела гордыня, пока не столкнулся с необходимостью подчиняться. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выполнять поручения? Но неосознанно я продолжал сопротивляться. Каждое задание вызывало необъяснимый протест. *Зачем я это делаю? Почему именно мне поручают эту работу?* Я привык к жизни, где всегда держал все под контролем. В монастыре же мне пришлось отказаться от своих привычек.

Отец Георгий видел мою борьбу, но молчал.

Когда я ошибался, он не упрекал меня. Он просто говорил начать сначала. Если я что-то делал небрежно, он не высказывал недовольства — лишь просил переделать. Когда во мне вскипала злость, он не обращал внимания, относясь ко мне с пониманием и терпением.

Но однажды, перед началом моего первого Великого поста в монастыре, отец Георгий посмотрел на меня долгим пронизывающим взглядом и сказал:

— Думаешь, знаешь, что такое борьба? Ты привык выдерживать удары, падать и

вставать, терпеть боль и идти до конца. Но скажи мне, Лео, сможешь ли ты поститься?

Я не сразу понял, к чему он ведет.

— Нет, не просто воздерживаться от пищи. Это самое легкое. Ты ведь привык ограничивать себя ради побед, ради формы, ради веса перед боем. Но сможешь ли ты вынести настоящий пост? Пост, который не только тело испытывает, но и душу?

Он подошел ближе, и его голос стал ниже, но тверже.

— Ты привык, что после изнуряющей тренировки можешь позволить себе восстановление: съесть необходимую еду, дать отдых мышцам. А сможешь ли ты выйти в поле, копать, таскать бревна, носить воду, когда желудок сводит, когда единственная еда — это кусок хлеба и вода, и даже в этом тебе говорят: подожди, еще не время?

Я сглотнул, но продолжал слушать.

— Когда голод сведет твои мышцы, когда слабость затмит сознание, когда руки перестанут слушаться, сможешь ли ты не просто стиснуть зубы, а поднять сердце в молитве? Или ты утонешь в раздражении? В осуждении? В злости?

Я не ответил.

— Ты был легендой, — продолжил он. — Всегда сильнее, быстрее, выносливее. Но сможешь ли ты быть слабым? Смирить себя, отказаться от своей воли?

Он замолчал, глядя мне прямо в глаза.

Я почувствовал, как во мне вспыхнул протест.

Он улыбнулся — словно ждал именно этой реакции.

— Видишь? Ты еще не начал поститься, но уже гневаешься.

Я по привычке сжал кулаки, но на этот раз чтоб усмирить кричащее сопротивление внутри.

— Ты думаешь, что уже привык к боли. Но это не та боль, которую можно преодолеть силой воли. Это боль смирения, боль ломки своей гордыни. Когда все внутри тебя будет вопить *«я не обязан это терпеть»*, сможешь ли ты сказать *«прости, Господи»* и продолжить путь?

Я напрягся.

Он сделал паузу, наблюдая за моей реакцией.

— Пост — это не отказ от еды, это война. Война со своим эго. Когда брат рядом с тобой получит лишний кусок хлеба, когда ты услышишь грубое слово в свой адрес, когда тебя попросят переделывать работу, которую ты уже выполнил, ты принимаешь это без ропота, как разбойник на кресте, говоря: *«Достойное по грехам моим приемлю»*.

Я ничего не ответил. Потому что знал — именно этот бой станет самым трудным в моей жизни…

Отец Георгий запрещал выбрасывать еду. В монастыре ничего не пропадало. Если хлеб засыхал — мы размягчали его в воде. Если овощи начинали подгнивать — варили из них скромную похлебку. Каждая крошка имела значение. Сначала мне казалось, что это всего лишь строгий порядок. Но с течением времени я начал замечать перемены в себе. Я учился не разбрасываться — ни хлебом, ни временем, ни словами. Учился беречь то, что нам даровано Богом. Понимал: если сегодня ты равнодушен к малому, завтра не заметишь, как потеряешь великое.

Послушание было тем, что давалось мне труднее всего.

Я мел двор, а потом, когда ветер разносил пыль, повторял свои действия. Я носил ведра с водой, стараясь не расплескать ни единой капли, хотя мог бы сделать это быстрее, но мне говорили: не торопись. Я колол дрова, складывал их аккуратно в поленницу, а на следующий день меня просили переложить их заново. Я чистил котлы, а после службы их приносили обратно, и работа начиналась сначала.

Поначалу мне все это казалось бессмысленным. Я не привык к тому, что труд сам по

себе может быть важнее результата. Но монастырь не требовал от меня понимания. Он требовал послушания.

Постепенно я понял: послушание не ломало меня, но показывало, где я еще не научился смиряться. Каждый раз, когда раздражение поднималось внутри, когда мне хотелось спросить: *а можно ли по-другому?* — это была точка, в которой мне еще предстояло измениться.

Днем тоска по Ламаре отступала, заглушенная трудом. Пока руки были заняты, а тело измотано, казалось, что я иду вперед. Но когда наступала ночь, когда оставались только я и мой разум, — все возвращалось. Боль приходила не сразу. Сначала это была просто усталость. Тело ныло от работы, от голода, от холода. Но потом, когда я закрывал глаза, в меня словно вонзались невидимые иглы. В памяти всплывали ее глаза, ее улыбка, голос. Я вспоминал, как в последний раз смотрел на нее, не понимая, что это — «последний раз». Как не ответил на ее сообщение. Как отложил на потом. Как думал, что успею. Но не успел. Отчаяние захлестывало меня. Я не мог дышать. Не мог двигаться. Я просто лежал, вцепившись пальцами в тонкое монастырское одеяло, как будто оно могло меня спасти.

Но оно не спасало.

Отец Георгий, глядя на мои мучения, однажды сказал: *«Ты должен полюбить свои страдания, ибо это твой крест»*. Я часто думал над его словами. *Полюбить страдания*? Как это вообще возможно? Каждый день я стремился примириться с ними, но внутри всегда оставалась пустота и неутоленная тоска…

Лишь со временем я понял, что страдания — это не только боль и утрата, но и очищение. Они превращают душу в плавильный котел, где все наносное сгорает, остается только чистое. Полюбить свои страдания — это не значит радоваться боли, а научиться видеть в ней ту благодать, которую Господь дает через испытания. Я старался принимать их, осознавая, что через эту внутреннюю войну, через ночи, когда хотелось бежать, — монастырь не пытался меня сломить. Он учил меня жить заново.

Годы спустя боль уже не была столь острой. Она больше не резала изнутри, не накрывала волной, от которой хотелось согнуться пополам и зажать голову руками. Она стала другой. Глухой, неизменной, впаянной в меня, как шрам, который уже не кровоточит, но все еще болит, стоит провести по нему пальцами. Я жил с этой болью, привыкая к ее весу, как человек привыкает к сломанной кости, которая срослась неправильно.

Но стоило чему-то напомнить мне о Ламаре — и я снова чувствовал, как мир сужается и сердце сбивается с ритма.

Так было и в тот день, когда мы собирали финики в монастырском саду, срывая спелые плоды с деревьев. Работая сосредоточенно, я повторял Иисусову молитву, стараясь удержать внутреннюю тишину. Вдруг один из послушников, трудившийся рядом, запел — тихо, проникновенно. Песня звучала на арамейском, и с первых нот в памяти всплыл знакомый мотив. Это было то самое пение, что звучало в небольшой церкви в селе Канда. Я вновь ощутил, как память наполнилась ею. И грудь тут же сдавило знакомой болью. И я понял тогда — боль не уйдет. И единственное, что я мог, — это смириться. Я больше не бежал. Я больше не просил, чтобы мне стало легче. Я просто позволял боли быть. И, возможно, в этом и состояло мое самое настоящее послушание.

Вот уже двадцать лет, как я несу этот крест. Хоть путь и не стал легче, но я научился видеть в нем благословение, ибо «*сила Божия в немощи совершается*[45]».

Глава 39. Постриг

— Почему вам дали имя центуриона Лонгина при постриге?

Отец Лонгин посмотрел на меня, и в его глазах я будто увидел долгий путь, который привел его к этому имени.

— Я пришел в монастырь, — начал он, переведя взгляд на огонь лампады, — с душой воина. В моих руках была сила, но на сердце — тяжесть. Я умел сражаться, но не знал, как сложить бойцовские перчатки.

Он сжал пальцами крест на груди и, немного помолчав, произнес:

— Лонгин был воином. Сотником, который пронзил копьем тело Христа. Но он же и был тем, кто увидел истину и раскаялся. Его сила не исчезла — она переросла во служение.

— И ваша сила стала такой же?

— Когда я стал монахом, настоятель сказал мне: «*Ты пришел, чтобы сложить оружие, но Бог вложит в твои руки не копье, а четки*». И я понял — как Лонгин, я должен увидеть свет там, где прежде видел лишь битву. — Взглянув на меня, он продолжил: — Меня нарекли Лонгином не потому, что я был силен, а потому, что мне предстояло научиться отдавать эту силу Богу. Это имя — напоминание. Не о копье. А о том моменте, когда оно выпало из рук грешника. Когда человек, привыкший сражаться с внешним, я осознал, что покаяние и смирение — это единственная победа, которая приносит сердцу мир.

В тишине, что повисла после его слов, отразилась вся боль и искупление пройденного им пути.

Немного погодя отец Лонгин снова заговорил:

— Я знал, что этот день наступит. Я долго шел к этому. Думал ли я о постриге, когда впервые переступил ворота монастыря? Нет. Тогда я еще цеплялся за мир, за прошлое, за себя прежнего. Думал, что все это временно, что я просто обессилел и нужно лишь найти способ снова вдыхать воздух полной грудью. Я был убежден, что еще вернусь в спорт, что монастырь — это лишь пристанище для моей измученной души.

Но сердце больше не искало выхода. Оно нашло его здесь. И с каждой молитвой, с каждым поклоном, с каждым днем, наполненным трудом и смирением, я понимал: это и есть мой путь.

Перед постригом меня нашел отец Георгий.

— Знаешь, — сказал он, — когда человек решает посвятить свою жизнь Богу, его часто терзают искушения. Сомнения, страхи. Я и сам это переживал. Но один старец тогда рассказал мне историю о блудном сыне, и теперь я хочу рассказать ее тебе.

Я кивнул, и он продолжил:

— Ты ведь помнишь эту притчу? Молодой человек потребовал свою часть наследства и ушел в дальнюю страну. Промотал все и оказался у разбитого корыта — голодный и без друзей. Тогда он понял, что даже слуги в доме его отца живут лучше. И вернулся — смиренный, с пустыми руками.

Отец Георгий задумчиво посмотрел в окно, как будто видел перед собой того самого блудного сына.

— Когда отец его увидел, он не упрекнул и не оттолкнул сына. Вместо этого он выбежал навстречу, обнял его и велел приготовить пир. Знаешь, почему? Потому что сын вернулся. Неважно, сколько у него ошибок за плечами — он вернулся к отцу. Вот и каждый из нас, сынок, возвращается к Богу не в славе, а в смирении, понимая, что без Отца душа погибнет.

Я подумал, что монастырь — это тоже дом Отца, где Он ждет не совершенных, а измученных. Не тех, кто никогда не падал, а тех, кто устал подниматься.

Отец Георгий внимательно следил за мной, стараясь прочесть в глазах, о чем я думаю.

— Помни, — добавил он, — монашество — это не награда за праведность. Это возвращение домой. Иногда болезненное, иногда с покаянной слезой. Но, несмотря на наши ошибки, Отец ждет каждого, как ждал того блудного сына. И если ты готов принять Его любовь — ты на верном пути.

Я кивнул, чувствуя, как в груди разливается тепло. Отец Георгий положил руку на мое плечо, благословляя. В тот момент я понял: постриг — это не уход от жизни, а еще одна дорога, ведущая к ее истокам.

В ночь перед постригом я не спал. Я вспоминал все. Свою жизнь *до*. Свой путь *сюда*. Вспоминал Ламару. Думал, одобрила бы она мой выбор. И я улыбнулся своим мыслям. *Она знала. Она всегда знала.*

На рассвете меня позвали. Я встал перед настоятелем, склонив голову.

— Чадо, что ты ищешь здесь? — спросил он, как того требовал чин пострига.

— Спасения души, — ответил я.

Каждое слово, произнесенное в тот день, было не только во имя обряда. Оно шло от сердца.

Я стоял, пока священник трижды остригал мне волосы в знак отречения от прежней жизни. Я слышал, как ножницы тихо скользят по прядям, слышал, как падают на пол локоны, и с каждым движением инструмента понимал — назад дороги нет. Меня облачили в новое одеяние и нарекли Лонгином.

Это было осознание того, что вело сюда мою душу, шаг за шагом, через боль, через тьму, через поиски себя. И когда я встал среди братьев, когда впервые произнес молитву уже не как гость, а как тот, кто обрел свой дом, я осознал: я больше не бегу. Впервые за долгие годы я остаюсь на месте. Я впервые свободен. По-настоящему свободен.

— Многие приходят сюда в поисках правды. Находят ли они ее, отец?

— Каждый приходит в монастырь со своим грузом, Саба. Кто-то ищет тишины, устав от мира, в котором негде побыть одному. Кто-то приходит в поисках ответа, мучаясь сомнениями, которые не дают дышать. Есть и те, кто хочет доказательств существования Бога, кто пытается разумом ухватить то, что можно постичь только сердцем и душой.

Он ненадолго замолчал, словно что-то припоминая.

— Один человек пришел сюда, потому что считал, что монахи живут в заблуждении. Он долго спорил, пытался разоблачить веру во Христа, доказывал, что все это — лишь слова. Потом он ушел. А через год вернулся. Уже без споров. Просто сел на лавку и долго смотрел в одну точку.

— И что с ним стало?

— Он остался… Но были и те, кто не оставался. Кто уходил так же, как пришел, не найдя того, что искал, или, возможно, просто не сумев этого увидеть. Каждый человек встречается с истиной тогда, когда готов. Вопрос в том, откроет ли он для нее свое сердце. Ведь правда требует не только знания, но и перемен. А это по силам не каждому.

— Возможно, им было страшно…

— Видеть свои раны всегда страшно. Еще мучительнее — осознать, что внутри больше тьмы, чем казалось. Но монастырь — это место, где можно увидеть свои грехи не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы исцелиться.

— Чтобы почувствовать, что в мире есть место, где не нужно притворяться… Чтобы уйти с ощущением, что внутри что-то сдвинулось, что ты стал чуточку ближе к тому, кем должен быть… — произнес я, опустив голову.

— *«Даждь ми, сыне, твое сердце, очи же твои моя пути до соблюдают*[46]».

Я взглянул на него и понял, что проницательный взгляд отца Лонгина призывал меня к исповеди. К настоящему откровению, к тому, чтобы снять с души груз, который я слишком долго нес в себе.

Слова полились сами собой.

— Я не знаю, кто я, отец. У вас была *Гора*, и вы с ней сражались. А у меня? Что, если я всю жизнь бесцельно плыву по течению?

Отец Лонгин улыбнулся — не снисходительно, а ласково и светло.

— Если нет *Горы*, это не значит, что нет дороги. Доверь сердце Богу, и пусть это станет твоим путем.

— Доверие как путь? Но как?

— Прежде всего, тебе следует смиряться перед своими немощами и не отчаиваться. Смирение не означает пассивного отношения к жизни и обстоятельствам. Напротив, христианин, обладающий этой добродетелью, активно ищет пути решения проблем, опираясь на молитву и доверие к Богу. Он делает все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но если усилия не приносят результата, то смиренно принимает волю Божию. Такое отношение позволяет сохранить внутреннюю гармонию, избежать излишнего беспокойства и с благодарностью принимать посылаемые испытания, понимая, что все в руках Всевышнего и происходит по Его промыслу.

Не спрашивай: «Почему?» Спроси: «Для чего?». После доверься милости Божией и молись, чтобы Он укрепил тебя. И Господь укажет путь.

Доверие… Впервые за долгое время я не чувствовал ни страха, ни сомнений. И осязал дорогу, которую пока не видел, но уже знал, что она есть…

Глава 40. Смирение

Я сидел напротив отца Лонгина, держа в руках дневник Ламары: небольшую потрепанную тетрадь в выцветшей обложке, с чуть стертыми уголками. К запаху бумаги примешивался тонкий, почти неуловимый аромат то ли засохших чернил, то ли ее духов, которые все еще жили на этих страницах, словно Ламара всегда носила эту книжку с собой.

Я принес его в монастырь, потому что знал — если и есть место, где можно услышать ее голос, так это здесь.

Отец Лонгин не спрашивал, как дневник попал ко мне. Он только сказал:

— Ты прочтешь его.

И я прочел.

…Когда мы перевернули последнюю страницу, в глазах отца Лонгина я увидел выстраданную истину, и именно в этой немощи рождалось его спасение, она держала его, не позволяя разбиться об острые рифы сожаления и отчаяния, подобно тому, как якорь удерживает корабль в беспокойном океане прошлого. Но в его выражении лица появилось и нечто новое, то, без чего его душе было бы не спастись…

— Теперь и я знаю, *ламазо*… — сказал он и ненадолго замолчал, позволяя этой тишине вобрать в себя последние строки дневника.

Я собирался закрыть его, но что-то привлекло мой взгляд. Из-под обложки выглядывал уголок фотографии.

— Отец Лонгин… — произнес я и медленно передал ему фотографию.

Он осторожно взял снимок, на котором Ламара, прикрыв глаза от солнца, улыбалась жизни. Старик Хвича с бокалом *гхвино* в руке, говорил что-то важное, а рядом стоял он, Гора. Не монах, а человек, который еще не знал, какое испытание готовит ему Всевышний.

В глазах отца Лонгина вспыхнули огоньки воспоминаний. Он долго вглядывался в снимок. Потом подушечками пальцев провел по улыбке Ламары, словно ища в ней нечто осязаемое, и тихо произнес:

— Тепло… Если Богу будет угодно, мы снова встретимся, Гловели… — Зазвонил монастырский колокол, будто подтверждая его слова. — И тогда ты покажешь мне иную родину… — Колокол ударил вновь, гулко и протяжно.

Я смотрел на отца Лонгина — обросшего бородой старца, двадцать лет прожившего среди суровых гор, и не мог не удивляться тому, с какой нежностью и теплотой он все еще говорил о Ламаре. Он был одним из тех редких людей, кому было подвластно видеть сердцем.

— Вы были тем человеком, который вдохновлял ее на лучшее…

— Я был всего лишь тем, кому посчастливилось видеть улыбку Ламары Гловели, — смиренно произнес отец Лонгин, еще несколько мгновений держа фото в руках.

В его глубоком сосредоточенном взгляде я ощутил покой, который мог прийти только после изнурительной внутренней битвы.

Колокол ударил в последний раз, провожая минувший день.

Отец Лонгин больше ничего не сказал. Лишь перекрестился и закрыл глаза, как человек, который наконец обрел долгожданное смирение.

***

С благословения отца Лонгина я прилагаю копию того самого вырванного листа из дневника Ламары. Именно он придал мне смелости и сил взойти на эту гору.

— Как понять, дружба это или любовь? — спросила я бэбо.

— Однажды ко мне пришла юная девушка, чьи родители запретили ей общаться с ее возлюбленным. Если не знать, какое доброе сердце у этого парня, то их можно было бы понять, поскольку вид у него был, надо сказать, устрашающий: суровый взгляд, сломанный нос, борода и сам он как огромный шкаф с множеством царапин. Кровь у него тогда кипела хуже горящего масла на разогретой сковороде, и он был совсем не обучен манерам. Я спросила у той милой девушки, что же ее привлекает в этом неотесанном, вызывающем страх человеке? На что она ответила: «Страх? Ну что вы, матушка, он похож на плюшевого мишку! Эти его глубоко посаженные глаза, смешной нос, мягкая борода — он как большой ребенок, вечно влезающий в уличные драки».

Мне казалось, что девушка та говорила моими словами.

Подушечками своих пальцев бэбо нежно промокнула слезу на моей щеке, сказав:

— Это и есть ответ на твой вопрос, милая… Когда любишь, недостатки растворяются в свете чувства и несовершенство исчезает, оставляя лишь истинный облик того, кто дорог сердцу.

P. S. Я люблю тебя, Лео Кипиани! Я люблю тебя с той самой ступени Самеба, где начался наш путь…

Дневник Ламары

Я ощущаю себя незнакомкой, у которой нет права задавать вопросы. Поэтому я начала вести дневник, вопреки обещанию никогда этого не делать…

Но лишь здесь, на этих страницах, я могу дать волю своим чувствам и выразить то, что не осмеливаюсь сказать вслух…

Ты исчез, как вечерний туман, рассеявшийся с приходом ночи, словно призрачное прикосновение и затихающий шепот. Твое присутствие растворилось в тенях воспоминаний, будто бы тебя никогда и не было…

Почему ты позволил поверить, что я важна для тебя, а потом оставил, словно я ничего для тебя не значила? Оставил во тьме того колодца, где теперь звучит лишь эхо этого вопроса, запертого в моем дневнике и немом сердце.

P. S. Надеюсь, ты никогда этого не прочтешь…

На ступенях храма Самеба

Вот уже год, как ты вошел в мою жизнь, спускаясь по этим ступеням. «Их ровно сорок восемь, я считала», — так я сказала тебе в то утро нашего знакомства, но ты не поверил.

Ты не доверял мне с самого начала, сомневался в моей искренности, оставаясь для меня холодной и неприступной скалой. Я же была настолько наивной, что верила, будто могу опереться на эту скалу, не подозревая, что с нее я сорвусь в пропасть. И я сорвалась...

Когда ты внезапно исчез, вот так просто, без объяснений, во мне осталась пустота, глубокая и непроглядная. Это чувство похоже на ранний вечер, когда солнце уже скрылось, но ночь еще не пришла, — неопределенное и тревожное, заполняющее пространство после твоего ухода. Я словно держу в руках кусочки мозаики, но не могу собрать их в единое целое; вижу частички твоего присутствия, но общая картина остается незавершенной. Время будто замерло, и я стою на перекрестке, где все пути ведут в никуда…

P. S. А еще я скучаю. Скучаю не только по тебе, но и по той улыбчивой, открытой и смелой Ламаре, которой, как мне хочется верить, я когда-то была.

***

На холме Сололаки

Я поднялась на холм, чтобы призвать закат в качестве свидетеля того, что Лео Кипиани был в жизни Ламары Гловели. Пусть он будет напоминанием о том, что я всегда храню для тебя место в ковчеге своего сердца.

P. S. Тебе бы он понравился, снова…

***

В кафе. Пишу с того самого места, где ты застал меня с пиццей

— Гловели? — услышала я, когда смаковала последний кусочек пиццы.

Я зажмурилась.

— Ламара, я тебя вижу.

Мне пришлось открыть глаза, деваться было некуда.

— Да, у меня роман с пиццей!

— Надо же, Гловели, вы изменяете грузинской кухне!

Я надула щеки и закатила глаза.

Ты сел рядом, взял салфетку и потянулся ко мне.

— Что ты делаешь? — спросила я, слегка напрягшись.

Ты аккуратно промокнул уголки моих губ и показал салфетку, на которой остались пятна от размазавшейся помады.

— Помада макового оттенка и эта пицца… Так смело, среди белого дня? — с улыбкой спросил ты.

Думаю, в тот момент у меня покраснели и щеки, что в целом сделало меня похожей на спелый помидор.

— Вот, держи. — Ты поднес стакан виноградного сока к моему рту. — Запей.

Я взглянула на тебя и выпила напиток до дна. Твои глаза были так знакомы моему сердцу, как будто я знала их всю свою жизнь — словно страницы книги, содержащие главы моей истории, которую я еще не прочитала. Мне казалось, твой взгляд проникал в самую суть моего существа, и вот-вот ты раскроешь все мои секреты.

Я поперхнулась от смущения.

— Не спеши так, ламазо, — сказал ты, бережно похлопывая меня по спине.

— Все в порядке, благодарю, — ответила я, стараясь вернуть себе уверенность.

Ты слегка ущипнул меня за щеку и, уходя, бросил через плечо:

— Не забудь записать это в дневник.

— Я не веду дневники… — напомнила я тебе, фыркнув вслед.

— Тогда тебе стоит начать…

P. S. Что я делаю в этой пиццерии? Зачем я возвращаюсь в места, где воспоминания беспощадно бередят мою незажившую рану?

Но где еще мне быть? Куда пойти, чтобы перестать думать о тебе, если вся моя родина — от пыльных тропинок Давида Гареджи до заснеженных склонов Казбека — напоминает о тебе…

P. P. S. Теперь любимая Грузия кажется мне минным полем. Но и ныне, и присно, и во веки веков она любима мной.

***

В монастыре

Каждый раз, когда мне радостно или печально на сердце, я отправляюсь к бэбо в женский монастырь, где она теперь настоятельница. Добрые вести мы обсуждаем за стаканом виноградного сока, а в моменты душевной тяжести я брожу по винограднику, где всегда нахожу утешение.

— Горькие.

— Ты что-то сказала, дитя?

— Конфеты. Они горькие.

— Это же твои любимые, — с удивлением произнесла она. — Вот, возьми другую.

Я откусила кусочек от протянутой ею конфеты. И та оказалась горькой. Бэбо забрала у меня конфету и попробовала ее на вкус.

— Милая, она сладкая, будто мед. Скажи-ка мне, ты в порядке?

— Почему ты спрашиваешь?

— Мне начинает казаться, что дело тут не в конфетах.

Взглянув на обертку с изображением мишки во льдах, мысли перенесли меня в далекие северные места, и внезапно я ощутила арктический холод. «Гора, — промелькнуло у меня в голове, — холодная гора…»

— Ты что-то сказала, милая?

— Нет, но мне необходима пробежка, чтобы собраться с мыслями.

— Конечно, дорогая. «Больше всего хранимого — храни сердце твое, ибо из него источники жизни»[47]. Помни, здесь всегда найдется сладость, чтобы скрасить твои печали.

— Благодарю тебя, бэбо.

Я поцеловала ее руки, которые осеняют меня крестным знамением каждый раз, когда я прощаюсь с ней, и отправилась по мостовой вдоль реки.

P. S. Бэбо была права. Не конфеты были горькими, а горечь в моем сердце делала их такими. Я вдруг перестала чувствовать вкус еды, и мир утратил свои краски, как если бы художник стер все яркие мазки с холста. Музыка, которая была музой, стала безразлична моим эндорфинам. Но что еще отвратительнее — это послевкусие во всем. Будто целая палитра эмоций сводится к нескольким серым оттенкам горечи и разочарования.

***

Где же еще мне быть...

Итак, я снова приехала в женский монастырь — это стало моим единственным прибежищем, где воспоминания не терзают сердце. Здесь моя рана в безопасности, ведь тут никогда не было их, Лео и Ламары...

Из разговора с бэбо…

— Как твоя пробежка, милая?

— Трудно бежать с грузом на сердце. Он словно якорь, замедляющий меня, и под этой тяжестью я останавливаюсь каждый раз, чтобы вдохнуть. Мне не хватает воздуха. Я будто задыхаюсь…

— О дитя, дай мне взглянуть на тебя, — мягко сказала она, с тревогой вглядываясь в мое лицо. — Ты вся бледная. Наверное, мало спишь и ешь. Ты вообще ешь что-нибудь?

— У меня один лишь голод, бэбо, — отчаянно произнесла я, — по Богу.

— Давай, доченка, садись, выпей виноградного сока. — Она подвинула ко мне стул, и мы устроились в беседке.

Сделав глоток, я ощутила приятную усладу.

— Очень вкусно, как и всегда — сказала я и выпила весь стакан.

— Да, уже более семидесяти лет монахини следят за виноградником, который приносит этот сладчайший урожай. Как ты знаешь, из него мы готовим сок и многое другое.

— Это и вправду особый сорт винограда.

— Мы его освящаем, поэтому, — пошутила бэбо и налила мне еще сока. — А теперь рассказывай, отчего конфеты горькие?

Я глотнула сока и произнесла лишь одно слово:

— Разочарование.

— Разочарование приходит, когда кто-то не оправдывает наших ожиданий. Чего же ты ожидала от него, милая?

Я удивилась прозорливости бэбо, ведь я никому не рассказывала о тебе, даже ей.

— Что он будет в каждом моем дне, — шепотом произнесла я.

— Ох, Ламара, ты ищешь постоянства от людей в мире, где нет ничего постоянного, забывая, что «всяк человек — ложь»[48].

— Но мое сердце звало его другом…

— Другом, говоришь… — Глубоко вздохнув, она бережно коснулась ладонью моей руки и сказала: — Милая, далеко не все мужчины умеют дружить с женщиной, дружить с ней

по-настоящему, без помыслов слева, — как мы, христиане, называем мысли, идущие от лукавого. Ибо для того чтобы мужчине дружить с женщиной, ему необходимо вначале стать святым, — произнесла она, словно улыбаясь моей наивности.

— Это шутка?

— Разве что в виде исключения, ведь случаи разные бывают.

Я опустила глаза и глубоко вздохнула. В груди что-то кольнуло, как если бы копье с двумя острыми наконечниками проникло в мое сердце.

— Дружба — это то, что очень похоже на любовь… — добавила бэбо, заметив мое отчаяние. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...

— …Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам»[49].

— Верно, милая, поэтому прежде всего нужно стараться соблюсти Его заповеди, и так на пути к Богу мы научаемся дружбе — учимся любить.

— Это касается только дружбы между мужчиной и женщиной?

— Не только. Если человек действительно способен на дружбу, то пол и возраст перестают быть важными. Такой друг поддержит маленького товарища, придя поболеть за него на соревнованиях; внимательно выслушает собеседника — будь то мужчина или женщина — и даст совет, если об этом попросят; проводит пожилого в госпиталь, а также — останется рядом, если это необходимо; и еще много чего, где есть «человек и активный глагол». Ведь христианство подразумевает жертвенность, готовность послужить ближнему. Такая дружба основывается на вечных ценностях.

— Как это, послужить ближнему?

— Сказано: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»[50]. Итак, мы должны видеть в каждом человеке образ Христа. При таком отношении нет эгоизма или тщеславия. То есть ты общаешься с кем-то не из-за личной выгоды и не превозносишься после того, как совершил какое-то доброе дело по отношению к нему. Это просто твой христианский долг — всегда быть готовым послужить Богу в лице человека.

— Но как понять, что ты действительно нужен, что твое присутствие важно?

— А вот для этого необязательно обладать духовным зрением, достаточно просто иметь доброе сердце. — И прежде чем я поспешила задать очередной вопрос, она продолжила: — Если уж говорить о «друге сердца», то есть о близком тебе человеке, — бэбо слегка приподняла бровь, — то это требует постоянства. Не только когда у тебя появляется время или возможность, но и когда их нет, ты все равно продолжаешь присутствовать в жизни своего друга, и он об этом знает — знает, что ты у него есть.

— А что, если вы находитесь порознь?

— Даже если вдали, вы рядом, поскольку пребываете в молитвах друг за друга. Это хорошо ощущается на духовном уровне, на котором, увы, редко встретишь людей. Но если встретил, нужно это беречь, как дар Божий.

P. S. Где же ты, Кипиани?

***

На выставке

После долгих дней домашнего заточения я заставила себя выйти в мир и решила посетить выставку картин моей подруги, наивно надеясь, что люди не станут смотреть на меня как на призрака из прошлого. По пути в арт-галерею я наткнулась на афишу: «Лео Кипиани и Саадат Халиф — бой в Лас-Вегасе», который должен был пройти этим же вечером в восемь, ровно через час после открытия выставки.

Было ощущение, будто кто-то вновь сковырнул мою рану, которая уже начала затягиваться, но я старалась об этом не думать, пытаясь отвлечься.

Я поздравила подругу, пообщалась с множеством интересных людей и даже ответила на вопросы собравшихся вокруг меня журналистов. Однако, несмотря на все попытки не думать о тебе, мое внимание было приковано к часам, висевшим на стене галереи. Меня преследовало необъяснимое беспокойство, и единственное, чего я желала, — это знать, что ты будешь в порядке.

19:30. В горле пересохло от волнения, и я осушила бокал шампанского.

19:55. Понимаю, что нужен еще один бокал.

20:00. Тревога охватила меня. Я замерла возле картины, которая словно ожила перед моими глазами. На ней было изображено бушующее море в разгаре бури. Грозовые тучи закрывали небо, на котором отражались оранжевые и красные отблески заката. Они создавали глубокий контраст с яростным морем и серым небосводом, добавляя полотну пронзительности и напряжения. Закатные лучи пробивались сквозь облака, подсвечивая водную гладь синими и зелеными оттенками. Волны, пенясь, сталкивались друг с другом в бесконечном хаосе. Мазки кисти художника были широкими и динамичными, что делало море живым и трепетным. Цветовые акценты и световые пятна были нанесены так свободно и интуитивно, что казалось, картина вибрировала от бурлящей энергии стихии.

Я ощущала, будто стою на берегу и чувствую необузданную силу этого места, как вдруг чей-то голос вырвал меня из потока хаоса:

— Как бы вы назвали это полотно? — Ко мне обратился мужчина лет сорока, в очках и галстуке с фужером в руках.

— «Бой в октагоне», — бросила я без раздумий.

— Интересная мысль…

— Вы позволите? — спросила я, указывая на бокал, из которого, судя по всему, он еще не успел отпить.

Он протянул мне фужер:

— Прошу.

— Что это? Минералка? — удивленно спросила я, сделав глоток.

— Боюсь, что да, это минеральная вода с газом. Дело в том, что я не пью алкоголь, но негласные правила этикета требуют держать бокал для шампанского в руке — все-таки культурное мероприятие, — шутливо заметил он.

— А очки — тоже бутафория?

— У меня астигматизм — искаженное зрение из-за неправильной формы хрусталика глаза. — Он снял очки и, демонстрируя их, пояснил: — Очки с цилиндрическими линзами помогают корректировать это искажение.

Мне сделалось крайне неловко из-за своего сарказма.

— Прошу прощения, это было так бестактно с моей стороны.

— Ну что вы, не стоит извиняться. Хотя смущение вам к лицу, — сказал он с мягкой улыбкой.

Я перевела взгляд на часы: 21:15. «Бой, вероятно, уже давно закончился», подумала я, испытывая непреодолимое желание узнать, как ты...

— Мне пора. Еще раз прошу прощения! И да, «минеральная вода с газом» звучит нудно, порой правила можно нарушить, тогда вас будут узнавать по почерку.

Я вернула ему бокал и поспешила к выходу, где связь ловила лучше и я могла подключиться к интернету. Я ввела твое имя в поисковике, и первая строка результатов выдала следующее: «Лео Кипиани был госпитализирован в результате травмы, полученной во время боя в Лас-Вегасе. Данные о степени тяжести его состояния все еще отсутствуют».

Меня словно связали узлом. Я вцепилась в поручень лестницы и постаралась выровнять дыхание. Я спрашивала себя:«Чего ты ждешь, Ламара? Пока об этом напишут все СМИ? Нет, ты столько не выдержишь! Позвони ему и узнай все сама, это же Лео!»

Я поспешно достала телефон из сумки, открыла список контактов, нашла твое имя и набрала номер, но твой телефон был выключен. Тогда я отправила сообщение: «Скажи, что ты в порядке. Ламара…»

Я осознавала, что твой телефон может оставаться выключенным еще какое-то время, что ты можешь не заметить моего сообщения среди множества других или вовсе не ответить на него. Тем не менее я осталась ждать твоего сообщения на этих темных холодных ступенях, которые совсем не походили на те сорок восемь…

Примерно через два часа посетители выставки начали расходиться. Неожиданно дверь за моей спиной приоткрылась, и я услышала голос:

— Минералки?

— Это вы? — спросила я, глядя в полумрак.

— Я, — отозвался тот мужчина с выставки.

— Что вы здесь делаете?

— А что вы делаете здесь в такое время и совершенно одна?

— Я… мне нужно было…

— Подышать воздухом?

— Именно, подышать воздухом. Я не люблю находиться в скоплении людей.

— Ну, а я просто возвращался домой.

— Вы собирались использовать пожарную лестницу?

— Нет, — ответил он, немного улыбаясь, — я заметил, что дверь к пожарному выходу открыта, и решил проверить, все ли в порядке… Так все в порядке?

Его вопрос вернул мои мысли к случившемуся.

— Надеюсь, — прошептала я, думая о тебе.

— Что, простите? Я не расслышал вас…

— Все будет в порядке. Благодарю!

— А знаете, с той стороны тоже полно воздуха, — сказал он, указывая по направлению к центральному выходу. — Вас подвести или вы на машине?

— Не нужно, благодарю.

— Я за весь вечер не слышал столько благодарностей и извинений, как за недолгое общение с вами.

Я невольно улыбнулась.

— А я столько не улыбалась за весь этот вечер, как за короткое общение с вами.

— Ну, тогда вам стоит меня поблагодарить, опять.

Мы прошли к парадному выходу, где он любезно открыл мне дверь, а я еще раз выразила свою благодарность, но уже молчаливым взглядом, а после исчезла в ночной тьме.

***

После трех дней ожидания

Сообщение наконец доставлено, но еще не прочитано… Наверное, так бывает, когда твоего сообщения не ждут, когда по тебе не тоскуют, когда просто все равно. Тогда твой текст теряется среди сотен других, таких же неважных, как ты сам, в этом бесконечном потоке информации, где каждое новое уведомление затмевает предыдущее. И даже если его когда-нибудь и прочтут, это будет уже лишено всякого смысла, ведь у любого вопроса есть свой срок годности — момент, когда ответ перестает волновать

того, кто задал его. Но я все еще остаюсь в этом моменте, надеясь услышать, что с тобой все хорошо…

***

Прошло еще три дня, ответа все нет…

***

Пятый день ожидания ответа

На экране телефона высветилось уведомление о новом сообщении, но, увы, оно было не от тебя:

«Здравствуйте, Ламара. Это тот странный мужчина с выставки, который весь вечер держал бокал для шампанского, в котором были пузырьки от минеральной воды. После нашего знакомства, если это можно так назвать, я был вынужден признать свой идиотизм. Нет-нет, не извиняйтесь, прошу вас. Напротив, ваша честность и открытость помогли мне увидеть, насколько глупо я выглядел. Вы словно стали зеркалом, обличающим мое светское тщеславие. Могу ли я надеяться, что вы не откажетесь познакомиться поближе, скажем, за чашечкой кофе или чая?»

Прочитав его сообщение, я подумала о том, как удивительно устроен этот мир. Как все не случайно: в тот момент, когда я с трепетом жду ответа от одного человека, мне пишет тот, кто, возможно, так же ждет сообщения от меня. Ирония в том, что это не один и тот же человек, как бы сильно мне этого ни хотелось.

Соглашусь ли я на эту встречу? Конечно нет. Хоть и мужчина, имени которого я даже не знаю, вызывает во мне лишь положительные эмоции, сама идея свидания с кем-то… Не могу даже представить. Раньше я бы даже не ответила на сообщение от незнакомца. Но теперь, осознавая, как это может быть мучительно — стоять в очереди за ответом, я решила написать, сразу и честно:

«Вероятно, мне следует еще раз извиниться перед вами, поскольку мои мысли и чувства с другим человеком. И чтобы вы не питали ложных надежд, добавлю, что вам будет легче сдвинуть скалу с места, чем вытеснить его из моего сердца».

Вскоре он ответил:

«Я ценю вашу искренность, именно поэтому вы мне и понравились. Все же я бы попробовал сдвинуть эту скалу, хотя и убежден, что ваши чувства сильнее моих усилий. Поэтому я заведомо проигрываю, но не ему, а — вам. И хотя это больше, чем просто симпатия, я оставлю свои эмоции при себе.

Лишь позвольте искренне пожелать вам счастья и взаимности, чтобы не оказаться снова на холодных ступенях в темную ночь. Берегите себя, Ламара».

***

Наконец спустя девять дней от тебя пришло сообщение:

«Я в порядке, ламазо. Надеюсь, ты тоже».

Получив долгожданный ответ, я испытала облегчение, узел в груди начал ослабевать. Однако вскоре вернулась старая, но не забытая боль, как если бы острая фаза болезни сменилось хронической.

P. S. Тебе пора к Лекарю, Ламара…

***

В винограднике

Я чувствовала, как меня одолевает буря мыслей и эмоций. Мне нужно было уединиться, чтобы позволить ей утихнуть, как если бы я раскладывала книги по полкам в книжном шкафу, только вместо книг там хранились бы мои чувства и размышления. Поэтому я обратилась к бэбо с просьбой пройтись по винограднику, где мне лучше всего удавалось навести порядок в своем разуме и сердце. Получив разрешение, я сняла обувь и ступила на влажную после дождя землю.

Блуждая по тропинкам виноградника, я пыталась понять природу этой силы, которая, как невидимая нить, тянется сквозь время и пространство, связывая нас. Сила, которая не держит и не отпускает, но — объединяет, будто прихожан храма в рождественское утро. Которая дает мне веру в твою непоколебимую стойкость духа, словно ты — святая гора. Которая позволяет увидеть свет, пронизывающий темные стороны твоей души, как если бы лучи солнца падали на купола Самебы; которая слышит звон ее колоколов в твоем сердце. Которая, как бурлящие потоки реки Рioни, пульсирует в твоих венах и позволяет увидеть глубины монашеских пещер в глазах. Сила настолько мощная, что ощущается как причастное вино, предлагаемое после всеобъемлющей исповеди.

Вдруг дуновение ветра пронеслось сквозь виноградные листья. Я остановилась среди бесконечных рядов виноградника, упираясь ступнями в землю, подобно глубоко вросшим корням лозы…

— Вот оно, — шепнула я, — то, что связывает нас, даже когда слова умолкли и взгляды давно не пересекались, — родина!

P. S. А что, если возвращение к корням на самом деле означает возвращение к Богу? И что, если родина способна исцелить душу, подобно тому, как Христос исцеляет нас?

Еще немного постояв в винограднике, я вернулась в монастырь.

Бэбо сначала взглянула на мои босые ноги, затем на лицо.

— Я вижу, ты нашла ответ, милая…

— Родина, — произнесла я с улыбкой. — Родина, от которой я все это время пряталась, избегая воспоминаний о нем, на самом деле является местом моего духовного преображения. И он, как ее часть, оставил рану, которая одновременно и болит, и исцеляет.

Бэбо слегка улыбнулась и заключила:

— Ибо «Мы славимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда»[51].

P. S. После смерти матери мне стало страшно терять. Я пыталась заполнить пустоту внутри, цеплялась за каждого, кто входил в мою жизнь. Но ты, Лео… Ты был послан мне для того, чтобы взрасти ту половину души, которая ощущалась мертвой. Ты — часть моей родины, часть моего пути. И благодаря тебе я наконец научилась не только любить, но и отпускать. Ибо истинная любовь доверяет Богу. В этом — ее сила. И мое исцеление.

Благодарности

Преподобный Исаак Сирин говорил, что на пути всякого доброго дела человек проходит три этапа искушения.

Вначале бесы стараются отвратить человека от самого намерения сделать добро.

Затем, если человек все же делает добро, они стараются извратить его плоды или вызвать смущение.

И наконец, если добро получилось, бесы искушают человека тщеславием, похвалой, самодовольством. Поддавшись, он говорит себе: «Как хорошо я сделал», — и тут весь духовный плод теряется из-за гордости.

На протяжении всего пути рядом были люди, чья поддержка стала частью Божьего замысла. Я хочу поблагодарить каждого, кто вдохновлял меня и чье участие сделало эту книгу возможной.

На первом этапе выражаю бесконечную благоданость Левану Васадзе.

Знакомство с его мыслями и трудами стало для меня одной из тех встреч, что возвращают человека домой. Его слова о родине звучат как голос земли, доносящийся с амвона Грузии. Именно его заботливое и неотступное напоминание помогло мне вернуться туда, где мое настоящее место.

Спасибо моей подруге Джули — первому читателю, решившемуся открыть мой неуклюжий черновик. В моменты моего отчаяния она убедила меня продолжать, сказав, что во время чтения одной из глав у нее прошла зубная боль. И тогда я подумала: если эта книга лечит зубы, то, может, сможет коснуться и чьего-то сердца.

От души хочу выразить благодарность Анте Шартава, которая любезно поделилась со мной уникальными фактами о грузинских достопримечательностях. В ее лице я отдаю дань признательности всем гидам, кто с вдохновением рассказывает о Грузии, пробуждая в сердцах слушателей восхищение и нежную привязанность к этой земле. Это поистине великое дело — влюблять людей в свою страну.

От всего сердца благодарю мою учительницу грузинского языка Нино Квеквескири, которая с искренним трепетом и призванием дарит людям возможность прикасаться к красоте и глубине грузинской речи. Это не только обучение — это служение родной культуре и ее будущему.

Моя искренняя признательность редактору Яне Козловой, без которой эта книга не обрела бы своей целостности и глубины. Она — одна из тех редких людей, кто сочетает высочайший профессионализм с подлинной человечностью. С ней чувствуешь не просто редакторскую руку, а внимательное, дружеское сопровождение. Истинное мастерство редактора — умение увидеть замысел автора и помочь ему раскрыться, и Яна наделена этим даром.

Моя особая благодарность Петре Канкава, чья преданность родной земле и готовность отозваться в нужный момент помогли этой книге обрести свое название — «48 ступеней к Виноградарю».

На втором этапе я благодарю своих читателей — если доброе дело, к которому я стремилась, все же удалось, то лишь потому, что вы сумели разглядеть за словами живое сердце истории и откликнуться на него.

Для меня каждая из этих «сорока восьми ступеней» была шагом веры, труда и надежды. И высшей наградой будет, если для кого-то они тоже станут дорогой к себе, к истокам, к родине, о которой тоскует душа.

Надеюсь, что эта книга принесла вам добрый плод: подарила утешение, вдохновила на путь домой или пробудила желание однажды увидеть Грузию — страну, где хлеб, соль и вино подают так же щедро, как и тепло своего сердца.

На третьем этапе, если Господь сподобит меня дойти до него, склоняя голову, я скажу спасибо Ему. Моей заслуги в этом нет — я лишь была той, кто, вдохновленный родной землей и ее людьми, жил предвкушением каждого мгновения, когда можно было снова писать, не дожидаясь утра или ночи. И если на этих страницах есть свет, то он не мой — а Его дар, который я постаралась передать.

P. S. Эта книга выросла из любви, боли и внутренней тишины. Когда-то моя родина исцелила меня, и теперь эти страницы — мой способ сказать ей спасибо. Я хотела, чтобы они были доступны каждому, поэтому книга не продается, а дарится от сердца. И пусть этот дар станет поддержкой на пути по вашим собственным ступеням, куда бы они ни вели…

---

[1] Ис. 58:7

[2] Там же.

[3] *Чакапули* — тушеное мясо, обычно телятина или ягненок, с зеленью (тархун, петрушка, укроп) и белым вином.

[4] Лк. 12:3

[5] *Супра* — традиционное грузинское застолье, включающее трапезу, вино, произнесение тостов и полифоническое пение.

[6] Добро пожаловать в Грузию! (*груз.* მოგესალმებით საქართველოში!).

[7] Пусть будет добрым ваш приход! (*груз.* კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!).

[8] Спасибо (*груз.* მადლობა).

[9] *Квеври* — грузинское изделие из керамики, напоминающее древнегреческий пифос без ручек.

[10] Отец (*груз.* მამა).

[11] Преподобный Гавриил (Ургебадзе, 1929–1995 гг.) — грузинский православный монах, юродивый Христа ради, канонизирован за подвиг любви, смирения и веры.

[12] Бабушка (*груз.* ბებო).

[13] Мф. 26:41

[14] Мк. 13:32

[15] Мф. 26:39

[16] Мф. 24:13

[17] Я здесь, дядя! (*груз.* აქ ვარ, ძია!)

[18] 2-е посл. к Коринф., 12:9

[19] Добро пожаловать на землю святой лозы! (*груз.* კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წმინდა ვაზის მიწაზე).

[20] Место, где производится, выдерживается и подготавливается к употреблению вино (*груз.* მარანი).

[21] Вино (*груз.* ღვინო).

[22] Твой тост заслужил большое уважение (*груз.* შენი სადღეგრძელო იმსახურებს დიდ პატივისცემას).

[23] Да здравствует Грузия! (*груз.* საქართველოს გაუმარჯოს!)

[24] *Мчади* — кукурузная лепешка из пресного бездрожжевого теста.

[25] Внучка (*груз.* შვილიშვილო).

[26] Питьевой рог, традиционный сосуд для вина в Грузии.

[27] Если ты была такой прекрасной,
Почему же я не заметил тебя, Ия?
Потому что для любви
Сердце мое было закрыто.

თუ ასე ტურფა იყავი,
რად ვერ გამჩნევდი იაო?
იმად რომ სიყვარულისთვის
გული არ გამიღიაო (*груз.*).

Текст — Нателла Онашвили
Музыка — Анзор Эркомаишвили

[28] Ин. 15:1

[29] Иди с Богом (*груз.* ღმერთმა სიკეთით გატაროს).

[30] Внучка, помни, что каждый шаг, который ты делаешь, это часть пути. Пусть каждый из них ведет к счастью и любви (*груз.* შვილო, ყოველ ნაბიჯს, რომელსაც გადადგამ, ეს გზის ნაწილია. ნებისმიერ მათგანს მიეყვანე სიყვარულამდე და ბედნიერებამდე).

[31] Дедушка (*груз.* ბაბუ).

[32] Долгой тебе жизни! (*груз.* დღეგრძელი იყავ!)

[33] *Шоти* — традиционный грузинский хлеб круглой или овальной формы с плотной коркой и мягкой серединой.
[34] Дочка (*груз.* შვილო).
[35] Дети (*груз.* შვილებო).
[36] Спасибо за твое теплое, как эти шоти, сердце, отец (*груз.* ამ შოთებივით თბილი გულისთვის მადლობა, მამა).
[37] Сохрани это тепло, доченька (*груз.* შეინარჩუნე ეს სითბო, შვილო).
[38] Субэтническая группа грузин.
[39] *Чвиштари* — кукурузные лепешки с сыром сулугуни, обжаренные на сковороде.
[40] *Купати* — особый вид грузинских пресервированных сырых колбас.
[41] Все будет хорошо, милая (*груз.* ყველაფერი კარგად იქნება, საყვარელო).
[42] Если ты была такой прекрасной,
Почему же я не заметил тебя, ламазо?
Потому что для любви
Сердце мое было закрыто.

თუ ასე ტურფა იყავი,
რად ვერ გამჩნევდი, ლამაზო?
იმად რომ სიყვარულისთვის
გული არ გამიღიაო (*груз.*).
[43] Святой отец (*груз.* მამაო).
[44] Мф. 4:4
[45] 2-е посл. к Коринф., 12:9
[46] Кн. Притч. Солом. 23:26
[47] Кн. Притч. Солом. 4:2
[48] Пс. 115:2
[49] Ин. 15:9–15
[50] Мф. 25:40
[51] Рим. 5:3–4